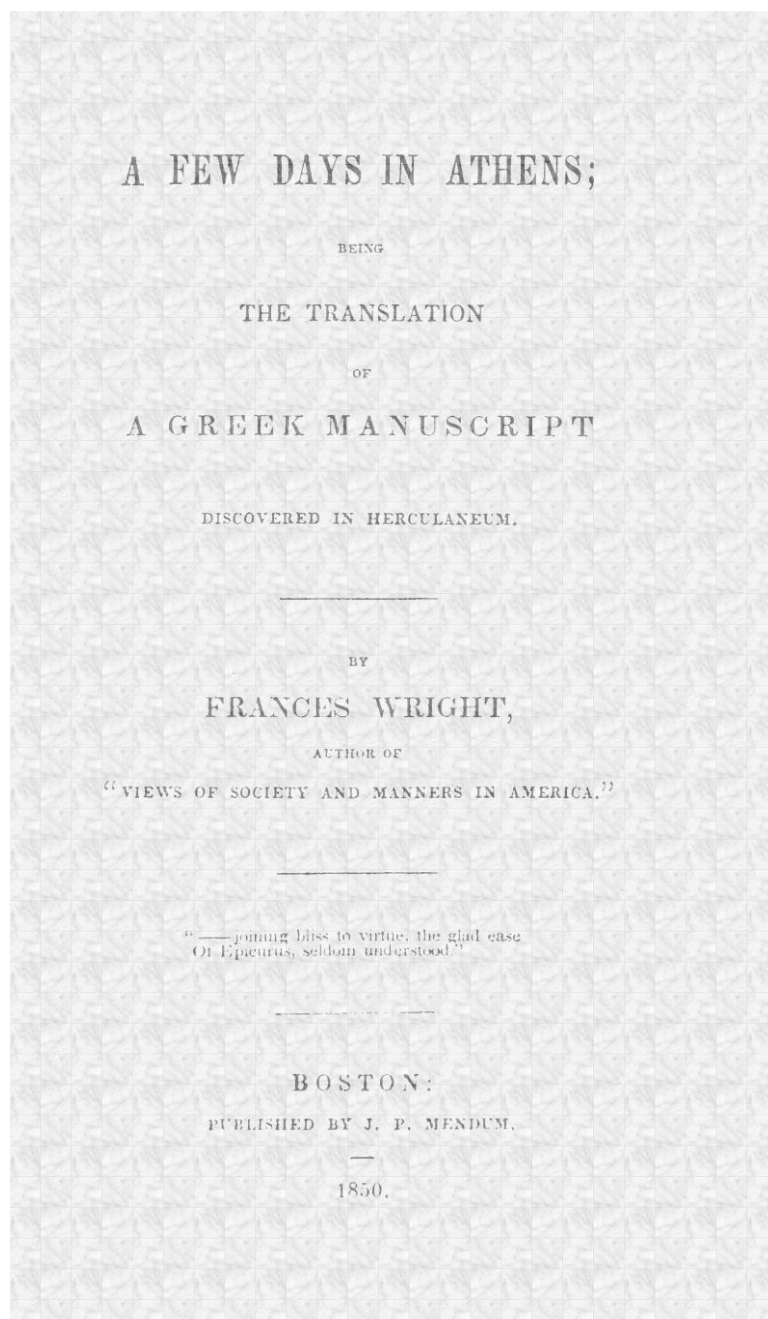


Несколько дней в Афинах. Перевод греческой рукописи, обнаруженной в Геркулануме

Фрэнсис Райт



Электронная книга проекта "Проект Гутенберг" "Несколько дней в Афинах".

Эта электронная книга может быть использована любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить ее или использовать повторно на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Несколько дней в Афинах

Автор: Фрэнсис Райт

Дата выхода: 4 декабря 2022 [eBook #69466]

Последнее обновление: 19 октября 2024 г.

Язык: Английский

Оригинальное издание: Соединенные Штаты: J. P. Mendum, 1850

Кредиты: Ричард Тонсинг и группа онлайн-распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных The Internet Archive)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK A FEW DAYS IN ATHENS ***

Примечание транскриптора:

Изображение обложки было создано транскриптором и помещено в общественное достояние.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В АФИНАХ; ПЕРЕВОД ГРЕЧЕСКОЙ РУКОПИСИ, ОБНАРУЖЕННОЙ В ГЕРКУЛАНУМЕ.

ФРЭНСИС РАЙТ,

АВТОРА КНИГИ "ВЗГЛЯДЫ НА ОБЩЕСТВО И НРАВЫ В АМЕРИКЕ".

"- Соединяя блаженство с добродетелью, радостная легкость

Эпикура, которую редко кто понимает".

БОСТОН:

ИЗДАНО ДЖ. П. МЕНДУМОМ.

1850.

ДЖЕРЕМИ БЕНТАМУ, В ЗНАК ВОСХИЩЕНИЯ ЕГО ПРОСВЕЩЕННЫМИ ЧУВСТВАМИ,
ПОЛЕЗНЫМИ ТРУДАМИ И АКТИВНОЙ ФИЛАНТРОПИЕЙ, А ТАКЖЕ В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ

ЗА ЕГО ДРУЖБУ, ЭТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ НАДПИСАНО ФРЭНСИС РАЙТ.

Лондон,

12 марта 1822 года.

ЧИТАТЕЛЮ.

Чтобы не получить заслуг за большую образованность, чем я имею, я прошу признать помощь, которую я получил в моей версии любопытного реликта древности, теперь предлагаемого публике из прекрасных итальянских MSS. эрудированного профессора греческого языка в университете ***** . Я не решаюсь более четко обозначить прославленного эллиниста, чьи труды привели к появлению этого любопытного фрагмента. Со времени установления святого господства вандалов на территории мятежной и гетеродоксальной Италии, и особенно в результате указа его ортодоксального, законного и австрийского величества, согласно которому его владениям, нуждающимся в хороших подданных, его колледжам запрещено посылать хороших ученых,^[1] стало необходимо, чтобы гофмейстеры классического полуострова изгнали из своих лекций и библиотек все профанное обучение и выказывали святое отвращение наукам и искусствам, которые они раньше исповедовали. Список учебников, используемых сейчас в трансальпийских школах, чрезвычайно любопытен; я сожалею, что потерял тот, который недавно предоставил мне один известный итальянский изгнанник. Моя память напоминает мне только, что в школе риторики ораторские речи Цицерона заменены орациями маркиза Лондондерри, а филиппики Демосфена - ораторами месье де Пейронне; что профессора истории изгнали десятилетия Ливия ради "Мучеников" месье де Шатобриана; что профессора истории изгнали десятилетия Ливия ради "Мучеников" монс. де Шатобриана; и что студенты греческого языка вместо од Пиндара и отступления десяти тысяч из Кунаксы читают гексаметры английского лауреата и наступление Людовика XVIII на Гент. При таком состоянии итальянского мира писем неудивительно, что ученый, чьему упорству, изобретательности и образованности публика обязана следующим фрагментом, должен возражать против того, чтобы претендовать на честь, которая ему причитается.

1. *Je ne veux pas de savans dans mes etats, je veux de bons sujets*", - так изрек австрийский самодержец итальянскому профессору.

Оригинал рукописи попал в руки моего эрудированного корреспондента осенью 1817 года. С того времени и до начала прошлой зимы все его свободные часы были посвящены тяжелой работе по разворачиванию листов и расшифровке полустертых символов. Несовершенное состояние рукописи вскоре заставило его отказаться от своего первого намерения переписать греческий оригинал; поэтому он прибег к итальянской версии, заполняя пробелы, состоящие иногда из слова, иногда из строки, а иногда из фразы, с тщательным и кропотливым изучением контекста. Пока эта версия печаталась во Флоренции, мне в Париж была передана ее копия с просьбой немедленно перевести ее на английский и французский языки. Первый вариант я сделал сам и могу заверить читателя, что он обладает достоинством верности. Первый эрудированный переводчик не счел нужным обременять этот том

маргинальными примечаниями; я же не нашел ни желания, ни возможности снабдить его ими. Тем, кто захочет обратиться к аллюзиям, разбросанным по старой классике, к персонажам и системам, о которых здесь идет речь, помогут маргинальные авторитеты красноречивого и изобретательного Бейля.

Мне остается только добавить, что настоящий том составляет немногим более трети оригинального текста; однако этого будет достаточно, чтобы публика могла составить представление о вероятной ценности всего издания.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В АФИНАХ.

ГЛАВА I.

"О, чудовищно!" - воскликнул молодой Теон, выходя из портика Зенона. "Вы, боги! И неужели вы потерпите, чтобы ваши имена так хулили? Почему вы не поразите громом актера и учителя таких безобразий? Что! Неужели вы допустите, чтобы наша молодежь и молодежь последующих веков была соблазнена этим бесстыдным Гаргеттианом? Неужели стоический портик должен быть оставлен ради сада Эпикура? Минерва, защити свой город! Заткни уши сыновей твоих от голоса этого обманщика!"

Так Теон дал волю негодованию, которое вызвали в нем слова Тимократа. Тимократ был учеником новой школы, но, поссорившись со своим учителем, перешел к последователям Зенона; и чтобы сделать больше заслуг в своем отступничестве и лучше завоевать сердца своих новых друзей, ежедневно изливал поношения на своего бывшего учителя, рисуя его и его учеников в самых черных красках уродства; с лицом, искаженным от ужаса, и голосом, торопливым и сдавленным, как от мук страшных воспоминаний, раскрывал тайны тех полуночных оргий, на которых философ Гаргеттий в окружении своих учеников выступал в качестве хозяина проклятых церемоний разгула и нечестия.

Полный этих ночных ужасов, юный Теон торопливыми шагами прошел по афинским улицам и, выйдя из города, сам того не замечая, свернул на дорогу, ведущую к Пирею. Шум гавани пробудил в нем воспоминания, и, почувствовав, что они не соответствуют его мыслям, он свернул на более спокойный берег Кефиса и, усевшись на пень засохшей оливы, почти омывшей его ноги водой, снова погрузился в задумчивость. Сколько он так просидел, он не знал, когда звук осторожно приближающихся шагов вновь вернул его к действительности. Он повернул голову и, оглянувшись с изумлением, с почтением взирал на стоящую перед ним фигуру. Она была среднего роста и одета в белое одеяние, чистое, как одеяние пифии. Форма, поза, складки одеяния были такими, какие резец Фидия придал бы богу элоквенции. Голова соответствовала остальным частям фигуры; она сидела на плечах с изяществом, которое художник не преминул бы рассмотреть: приподнятая, но несколько наклоненная вперед, как будто привыкшая мягко искать и благосклонно отдавать внимание. На это лицо мог бы взглянуть поэт и подумать, что видит в нем один из образов, воплощенных его фантазией. Черты лица не были отлиты для статуи; они были благородны, но не правильны. Мудрость мягко светилась из глаз, откровенность - на широком лбу; уста покоились в мягкой, почти незаметной улыбке, которая не кривила губ и не нарушала щек, а была видна только в безмятежном и святом благодушии, озарявшем всю физиономию: Это был отблеск

солнечного света, дремлющего на прозрачном озере. На бровях и подбородке проступали первые возрастные черты, но так мягко, что скорее смягчали, чем углубляли выражение лица; волосы и впрямь казались преждевременно тронутыми временем, ибо были чистого серебристого цвета, откинута со лба и окаймляли горло короткими локонами. Он благосклонно принял приветствие юноши и ласково протянул руку в ответ: "Позвольте мне не нарушать ваших размышлений; я скорее разделю их, чем нарушу". Если внешность незнакомца завораживала Теона, то его голос очаровывал еще больше: никогда еще его слух не поражал столь сладостный, столь музыкальный звук.

"Несомненно, я вижу и слышу божество!" - воскликнул он, отступая назад и почтительно опускаясь на колени.

"Видно, из рощи академии", - сказал мудрец, подойдя и положив руку на плечо юноши.

Теон поднял глаза, скромно покраснев, и, ободренный милым видом мудреца, ответил: "Нет, из стоического портика".

"Ах! Я и не думал, что Зенон может послать такого мечтателя. Ты учишься в хорошей школе, - продолжал он, заметив, что юноша смущен этим замечанием, - школе настоящей добродетели; и, если я хорошо читаю по лицам, как мне кажется, я вижу ученика, который не посрамит ее доктрины".

Дух Теона вернулся; у незнакомца был тот взгляд, и голос, и манеры, которые мгновенно вселяют уверенность в робкого и влекут любовь в чувствующее сердце. "Если ты человек, то оказываешь на души своих собратьев более чем человеческое влияние. Я видел вас всего один миг, и этот миг привел меня к вашим ногам".

"Надеюсь, не так уж низко, - с улыбкой ответил мудрец, - я всегда предпочитал быть товарищем, а не хозяином".

"И то, и другое", - сказал нетерпеливый юноша и, схватив полувытянутую руку мудреца, почтительно прижал ее к губам.

"Я вижу, ты энтузиаст. Остерегайся, мой юный друг! Такие, как ты, должны быть лучшими или худшими из людей".

"Тогда, если бы вы были моим проводником, я был бы лучшим".

"Что! Вы, стоик, просите проводника?"

"Я, стоик! О! Если бы я им был! Я еще стою на пороге храма".

"Но, стоя там, ты, по крайней мере, заглянул внутрь и увидел славу, и разве это не побудит тебя продвигаться вперед? Кто из тех, кто видел добродетель, не любит ее и не жаждет обладать ею?"

"Верно, верно; я видел добродетель в ее благороднейшей форме - Аля! столь благородной, что глаза мои ослепли от созерцания. Я смотрел на Зенона с восхищением и отчаянием".

"Научитесь смотреть с любовью. Тот, кто лишь восхищается добродетелью, отдает ей лишь половину ее заслуг. Она просит, чтобы к ней подошли, чтобы ее обняли - не со страхом, а с уверенностью, не с благоговением, а с восторгом".

"И все же, кто может смотреть на Зенона и надеяться когда-нибудь сравниться с ним?"

"Ты, мой юный друг: Почему бы и нет? У тебя есть невинность, у тебя есть чувствительность, у тебя есть энтузиазм, у тебя есть честолюбие - с чего еще мог начать свою карьеру Зенон? Мужайся, мужайся, сын мой!" - остановившись, так как во время диалога они незаметно пошли в сторону города, и положив руку на голову Теона, - "Нам нужна только воля, чтобы стать такими же великими, как Зенон".

Теон затаил дыхание, чтобы вздохнуть, но его действие и взгляд, сопровождавший его, сменили вздох на улыбку. "Ты сделаешь меня тщеславным".

"Нет; но я сделаю тебя уверенным в себе. Без уверенности Гомер никогда не написал бы свою "Илиаду" - нет; и Зенон не поклонялся бы сейчас в своем портике".

"Значит, вы считаете, что уверенность сделает всех людей Гомерами и Зеносами?"

"Не всех, но очень многих. Я считаю, что тысячи людей имеют в себе семена совершенства, но никогда не обнаруживают их. Но мы говорили не о поэзии и философии, а только о добродетели - все люди, конечно, не могут быть поэтами или философами, но все люди могут быть добродетельными".

"Думаю, - ответил юноша со скромным румянцем, - если бы я мог каждый день гулять с вами по границам Цефиса, я бы иногда проказничал у портика".

"Боже упаси, - игриво воскликнул мудрец, - чтобы я украл прозелита! Да еще у Зенона? Это может дорого мне обойтись. О чем ты думаешь?" - продолжил он после паузы.

"Я думал, - ответил Теон, - какая потеря для человека, что ты не учитель в садах вместо сына Неоклеса".

"Ты знаешь сына Неоклеса?" - спросил мудрец.

"Не дай боги, чтобы я знал его больше, чем по слухам! Нет, почтенный чужеземец; не так уж я ошибаюсь, думая, что попал в сады Эпикура. Я не так давно в Афинах, но надеюсь, что если впредь буду жить здесь, то никогда не соблазнусь поборником порока".

"От души надеюсь на то же самое. Но ты говоришь, что не так давно живешь в Афинах - ты приехал сюда, чтобы изучать философию".

"Да; мой отец был учеником Ксенократа; но, отправляя меня из Коринфа, он велел мне посещать все школы и остановиться на той, которая должна дать мне самые высокие представления о добродетели".

"И ты пришел к выводу, что это школа Зенона".

"Думаю, что да: но однажды меня чуть было не схватил молодой пифагореец, и я часто подвергался опасности стать одним из членов академии".

"Не стоит говорить *"в опасности"*: Ибо, хотя я считаю, что ты хорошо выбираешь, оставаясь в основном на стороне Зенона, я бы хотел, чтобы ты посещал все школы, и притом с готовностью. Следование одной, даже самой совершенной, секте сопряжено с определенным риском, чтобы не исказить ум и не сжать сердце. Да, молодой человек! Такое может случиться даже в портике. Нет секты без предрассудков и пристрастий".

"Я верю, что вы говорите правду".

"Я *знаю*, что говорю правду, - ответил мудрец тоном, который он уже не раз использовал в шутиливой манере, - я *знаю*, что говорю правду; и если бы мне раньше нужны были доказательства, подтверждающие мое мнение, наш нынешний разговор предоставил бы их".

"Как это?"

"Нет, если бы я стал объяснять, вы бы мне не поверили: Ни один человек не видит своих предрассудков; нет, пусть хоть философ укажет на них. Но терпение, терпение! Время и возможность все исправят. Вы же не думали, - продолжил он после небольшой паузы, - вы же не считали, что у вас нет предрассудков? Восемнадцать, не больше, если судить по цвету лица, и без предрассудков! Вряд ли я осмелюсь утверждать, что сам был без них, и, полагаю, боролся с ними дольше и упорнее, чем вы".

"Что вы хотите, чтобы я сделал?" - робко спросил юноша.

"Я хочу, чтобы ты сделал очень странную вещь - не иначе как пошарил пару раз в саду Эпикура".

"Сад Эпикура! О, Юпитер!"

"Совершенно верно, Юнона!"

"Что! Слышать, как оспариваются и отрицаются законы добродетели? Слышать, как оправдывается, пропагандируется и пропагандируется порок? Исповедовать и насаждать безбожие и атеизм? Быть свидетелем ночных оргий порока и разврата? Боги, какие ужасы открыл Тимократ!"

"Ужасы, по правде говоря, несколько ужасающие, мой юный друг; но я полагаю, что Тимократ немного ошибается. В том, что законы добродетели когда-либо смешивались и отрицались, а порок отстаивался и пропагандировался каким-либо учителем, я склонен сомневаться. И если бы я действительно услышал подобное, я бы просто решил, что говорящий сошел с ума, или, в противном случае, что он развлекается, меняя значение слов, и что под термином "добродетель" он понимает порок, а под ним - наоборот. Что касается насаждения нечестивости и атеизма, то это может быть преувеличено или неправильно понято. Многих называют нечестивыми не за то, что они исповедуют худшую, но отличную от их соседей религию; а многих атеистами - не за то, что они отрицают Бога, а за то, что думают о нем несколько своеобразно. О ночных оргиях порока и распутства я ничего не могу сказать; я слишком глубоко невежественен в этих вопросах, чтобы оправдывать или осуждать их. Такие вещи могут быть, и я никогда о них не слышал. Все возможно. Да, - повернул он свое благосклонное лицо к юноше, - даже то, что Тимократ солгал".

"Такая возможность мне и в голову не приходила".

"Нет, мой юный друг; и скажу ли я тебе почему? Потому что он говорил тебе нелепости. Пусть самозванец придерживается вероятности, и он вряд ли будет навязываться. Занимаясь диковинками, он щекочет воображение и уводит за собой рассудок, а если рассудка нет, что спасет даже мудреца от глупости?"

"Я должен искренне радоваться, обнаружив, что доктрина Гаргеттиана менее чудовищна, чем я считал до сих пор. Я говорю "*менее чудовищным*", ибо вы не хотели бы, чтобы я считал их хорошими".

"Я бы хотел, чтобы вы не думали ни о чем хорошем или плохом в связи с *моим* решением. Первое и последнее, что я хотел бы сказать человеку, - *думай сам!* Это плохая фраза пифагорейцев: "Так сказал учитель". Если упомянутый вами молодой ученик когда-нибудь добьется успеха в вашем обращении, верьте в метемпсихоз по какой-нибудь другой причине, а не потому, что Пифагор "так сказал"."

"Но, если позволите спросить, вы хорошо думаете об Эпикуре?"

"Я не хотел извиняться за Эпикура, я хотел лишь предостеречь от Тимократа, но, видите ли, мы в городе, и к счастью, потому что уже совсем темно. Меня ждет компания молодых друзей, и, если бы вы не опасались ночных оргий, я бы попросил вас присоединиться к нам".

"Я не буду их бояться, когда у меня есть такой проводник", - ответил юноша, смеясь.

"Однако я не думаю, что это так уж невозможно, как кажется тебе", - сказал мудрец, смеясь в свою очередь, с большим юмором, и вошел в дом, пока говорил; затем распахнул одной рукой дверь, а другой мягко потянул юношу за собой: "Я - Эпикур!"

ГЛАВА II.

Изумленный, испуганный Теон вырвался из рук мудреца и, пошатываясь, попятился назад, но от падения его спасла статуя, стоявшая у стены по одну сторону от двери: он прислонился к ней, побледнев и едва не потеряв сознание. Он не знал, что делать, почти не чувствовал себя и был совершенно слеп ко всем окружающим его предметам. Его проводник, возможно, ожидавший его замешательства, не повернулся, чтобы заметить его, а прошел вперед так, чтобы скрыть его из виду, и, чтобы дать время опомниться, стоял, принимая и возвращая приветствия.

"Приветствую вас, сыновья мои! И, полагаю, вы тоже приветствуете меня. Вы проголодались или мне предстоит голодать? Вы съели ужин или только сидите и тоскуете, проклиная мою задержку?"

"Последнее, только последнее", - вскричал бойкий юноша, спеша навстречу хозяину. Еще один и еще, и через мгновение они оказались в тесном кругу.

"Пощадите, пощадите!" - вскричал философ, - "пропустите меня еще на шаг, и вы опрокинете пару статуй". Затем, оглянувшись через плечо, сказал: "Я привел тебе, если он не сбежал, очень приятного молодого коринфянина, , для которого, пока он не обретет свой язык, я буду требовать приема". Он протянул руку с чарующим ободряющим взглядом, и все еще колеблющийся Теон пошел вперед. Теперь туман исчез из его глаз, а пение - из ушей, и перед ним предстали и комната, и компания. Возможно, если бы не это движение, а еще больше - взгляд мудреца, он бы сейчас отступал, а не шел вперед. "В зале Эпикура, в том зале, где Тимократ видел" - о, ужасное воображение! "И он, ученик Зенона, друг Клеанфа, сын последователя Платона, переступил порог порока, порог нечестивого Гаргета!" Да, он, конечно, бежал бы, если бы не эта протянутая рука и не эта завораживающая улыбка. Однако она его покорила. Он шагнул вперед и, сохраняя самообладание, встретил протянутую руку. Круг расступился, и Эпикур представил "друга". "Его имя ты должен узнать от него самого, я

же знаком только с его сердцем, и то, по знанию двух часов, я признаю себя влюбленным в него".

"Значит, он будет моим братом", - воскликнул оживленный юноша, говоривший до этого, и бросился в объятия Теона.

"Когда же мы будем пользоваться своими глазами, ушами, и пониманием?" - сказал мудрец, ласково поглаживая голову своего ученого. "Видишь! Наш новый друг не знает, как ответить на твою преждевременную привязанность".

"Он ждет, - архаично ответил юноша, - чтобы получить от меня ту же похвалу, что и я от него. Пусть хозяин скажет, что влюблен в мое сердце, и он тоже раскроет свои объятия брату".

"Надеюсь, он не такой дурак", - весело ответил мудрец. А затем с акцентом более серьезным, но все же более сладким: "Я надеюсь, что он будет судить обо всех вещах и обо всех людях по своему разумению, а не по разумению Эпикура или еще более мудрого человека. Когда я могу надеяться на это от Софрона, - улыбаясь, покачал он головой, - может ли Софрон сказать мне?"

"Нет, конечно, не может", - ответил ученый, тоже улыбаясь и качая головой, подражая своему хозяину.

"Иди, иди, негодяй! И проводи нас к ужину: Я более чем наполовину подозреваю, что вы его съели". Он повернулся и, фамильярно взяв Теона за плечо, прошел по залу, точнее, по галерее, и вошел в просторную ротонду.

Лампа, подвешенная к центру потолка, освещала стол, уставленный простыми, но элегантными блюдами. Вокруг стен, в нишах на равном расстоянии друг от друга, стояли двенадцать статуй работы лучших мастеров; по обе стороны от них горела лампа на небольшом треножнике. Возле одной из ламп на кушетке возлежала женская фигура, сосредоточенно читавшая книгу, лежавшую у нее на коленях. Голова ее была наклонена вперед так, что скрывала лицо, кроме того, его затеняла рука, которая, опираясь локтем на подлокотник кушетки, была распростерта над бровями, чтобы укрыться от слепящего света. У ее ног сидела молодая девушка, рядом с которой лежала маленькая кифара, молчаливая и забытая своей хозяйкой. Может быть, Крит и придал этим глазам искрящийся блеск, но вся нежность, которой они дышали, была чисто ионийской. Полные и румяные губы, наполовину раздвинутые, демонстрировали два ряда жемчужин, которым могла бы позавидовать Фетида. И все же вульгарный взгляд не мог бы остановиться на этом лице: чертам не хватало дорической гармонии, а цвет лица был подернут африканским солнцем. Теон, однако, не заметил этого, поскольку его взгляд упал на девушку, поднявшую голову к лицу своего ученого спутника. Никогда еще книга не читалась с таким вниманием, как это лицо с ласковыми и нежными глазами, которые, казалось, поклонялись, глядя на него. Звук приближающихся шагов привлек внимание девицы. Она поднялась, покраснела, наполовину ответила на приветствие мастера и робко отступила на несколько шагов. Ученица все еще не отрывалась от свитка, над которым висела, когда мудрец подошел к ней и положил палец ей на плечо: "Что ты читаешь, дочь моя?". Она опустила руку и посмотрела ему в лицо. Что за лик предстал перед ней! Это не была красота цветущей, румяной юности, обхаживающей любовь и желание. Это было самообладающее достоинство зрелой женщины и благородное величие ума, требующее уважения и обещающее восторг и наставления. Черты лица были не Венеры, а Минервы. Глаза смотрели глубоко и твердо из-под двух ровных бровей, которые чувство, а не годы, слегка стянули в центре лба, который в остальном был равномерно гладким и отполированным, как мрамор. Нос был скорее

римским, чем греческим, но совершенно правильной формы, и хотя он не был мужественным, выражение его было бы суровым, если бы не рот, в котором находилось все самое прекрасное и изящное. Подбородок был изящно округлен и повернут на греческий манер. Цвет щек был нежнейшим и бледно-розовым, настолько бледным, что его едва ли можно было различить, пока он не усиливался от волнения. Так было и в этот момент: испугавшись обращения мудреца, она залилась ярким румянцем. Она свернула книгу, бросила ее на диван и поднялась. Ее рост значительно превышал женский, но в каждой конечности, в каждом движении чувствовалась симметрия и гармония. "Трактат Теофраста" - красноречивый, изобретательный и химерический. У меня есть желание ответить на него". Ее голос был полным и глубоким, как звуки арфы, когда по ее аккордам ударяет рука мастера.

"Никто не сможет сделать это лучше", - ответил мудрец. "Но я должен был предположить, что престарелого перипатетика уже заставило замолчать самое острое, изящное и тонкое перо Афин". Она поклонилась в ответ на комплимент.

"Значит, это и есть знаменитый Леонтий?" - пробормотал Теон. "Тимократ, должно быть, лжец".

"Не знаю, - продолжал Леонтий, - стал бы я сегодня вечером так часто считать Теофраста неправым, если бы он не заставлял меня постоянно чувствовать, что он считает себя правым. Должен ли я искать причину этого в тщеславии писателя или читателя?"

"Возможно, - улыбнулся мастер, - вы обнаружите, что причина кроется и в том, и в другом".

"Полагаю, что так оно и есть", - ответил Леонтий. "Теофраст, предавая свое самолюбие, задел мое. Тот, кто собирается доказать, что его собственное мышление правильно, должен помнить, что он также собирается доказать, что все другие способы мышления ошибочны. И если это заставляет его медлить с началом этого дела, оно должно заставить его быть еще более осторожным, когда он все же приступит к нему, и делать это с подобающей скромностью. Мы, несомненно, настоятельно призываем принести в жертву собственное тщеславие, прежде чем призывать других принести в жертву свое. Но я бы не стал укорять Теофраста за то, что он иногда забывает об этом, поскольку я не знаю ни одного человека, который бы всегда помнил об этом. Мягкость и скромность - качества одновременно и самые необходимые для учителя, и самые редко встречающиеся у него. Именно они привлекли внимание афинской молодежи к Сократу, и именно они, - наклонился к Мастеру, - привлекут их к Эпикуру".

"Если бы я мог принять твою похвалу, дочь моя, я бы не сомневался в истинности твоего пророчества. Ибо, действительно, способ донесения истины в большинстве случаев производит на слушателя не меньшее впечатление, чем сама истина. Так же трудно принять слова мудрости от неженки, как полюбить или даже признать добродетель в строгом человеке". Он приблизился к столу, пока говорил. Часто во время ужина глаза Теона были прикованы к лицу этой ученицы. Какая грация! Какое величие! А главное, такой ум! И это - та самая Леонтия, которую Тимократ называл проституткой без стыда и меры! А это был Эпикур, которого он поносил именами, слишком мерзкими и ужасными, чтобы повторять их даже в мыслях! А эти - продолжал он свой внутренний паясничанье, оглядывая собравшихся, - эти были преданными жертвами порока нечестивого господина.

"Вы прибыли сегодня вечером как нельзя вовремя, - воскликнул Софрон, обращаясь к Философу, - как нельзя вовремя для легких двух ваших учеников".

"И для ушей третьего", - прервал его Леонтий. "Меня справедливо отправили в изгнание".

"О чем шла речь?" - спросил Эпикур.

"Что справедливее - возмущение или презрение к порочным людям: Метродор отстаивал первое, а я - второе. Пусть господин решит".

"Он, конечно, выскажет свое мнение, но это не решение".

"Хорошо; а ваше мнение - это мнение..."

"Ни то, ни другое".

"Ни то, ни другое! Я и не подозревал, что у этого вопроса больше двух сторон".

"У него есть еще третья; и я почти никогда не слышал вопроса, у которого ее не было бы. Если бы я относился к порочным людям с негодованием, я бы не приобрел ни одного добродетельного человека. Если бы я относился к ним с презрением, я бы никогда не стремился к добродетели".

"Как это так, - сказал Леонтий, - что ученые так мало знакомы с нравами своего учителя? Когда Эпикур смотрел на порочных людей иначе, чем с состраданием?"

"Верно", - ответил Метродор. "Не знаю, как я забыл об этом, хотя, возможно, это единственный пункт, по которому я не раз осмеливался спорить с ним и по которому упорно придерживался иного мнения".

"Не говори о самонадеянности, сын мой. Кто не имеет права думать за себя? Или кто тот, чей голос непогрешим и достоин заглушать голоса своих собратьев? И помните, что то, что вы остались необузданным моими доводами в одном случае, может лишь способствовать тому, что ваше убеждение будет более лестным для меня в других. И все же, если бы мне захотелось склонить вас к своему мнению, я знаю одного человека, чьи доводы, более веские и убедительные, чем мои, в скором времени сделают это с наибольшей эффективностью".

"Кто вы?"

"Не кто иной, как старое хриплое Время, - сказал Мастер, - которое, мягко ведя нас по жизненному пути, открывает нам многие истины, которых мы никогда не слышали в школах, а некоторые, услышав там, мы с трудом восприняли. Наши знания о человеческой жизни должны быть приобретены в процессе ее прохождения; уроков мудреца недостаточно, чтобы передать их. Наши знания о людях должны быть получены путем собственного изучения их; чужие отзывы никогда не убедят нас. Когда ты, сын мой, увидишь больше жизни и изучишь больше людей, ты обнаружишь, или, по крайней мере, я *думаю, что* ты обнаружишь, что суждение не является ложным, которое заставляет нас быть снисходительными к недостаткам - да! даже к преступлениям наших товарищей. В юности мы действуем в порыве чувств, и мы чувствуем, не задумываясь о том, чтобы судить. Поступок, порочный сам по себе или просто по нашей оценке, наполняет нас ужасом, и мы отворачиваемся от его совершителя, не дожидаясь, пока он выслушает мольбы, которые его невежество может воззвать к нашему милосердию. В зрелые годы, если предположить, что наши суждения тоже созрели, когда нам станут очевидны все коварные соблазны, которые ввели его в заблуждение, и все недостатки, которые он испытывал, возможно, с самого рождения, - вот тогда, и не раньше, наше негодование по поводу преступления уступит место жалости к человеку".

"Я последний, - сказал Метродор, пунцовый румянец залил его лицо, - кто должен возражать моему господину в его милосердии к обидчикам. Но есть пороки, отличные от тех, от которых он меня спас, которые если и не более недостойны, то, пожалуй, более непростительны, поскольку совершаются при меньшем искушении; и более отвратительны, поскольку проистекают не из бездумного невежества, а из расчетливой испорченности".

"Разве мы не склонны, - сказал мудрец, - смягчать свои недостатки, даже осуждая их? И разве не льстит нашему самолюбию соизмерять собственные пороки с пороками более ошибочных соседей?"

Ученый наклонился вперед и, склонив лицо к руке хозяина, лежавшей на столе, прижал к ней все более пунцовую щеку. "Я не хочу оправдывать ранние пороки Метродора. Я люблю рассматривать их во всей их чудовищности, ибо чем отвратительнее пороки его юности, тем больший долг благодарности должен отдать тебе его муж. Но скажи мне, - добавил он и поднял глаза к благосклонному лицу мудреца, - скажи мне, о мой друг и наставник! Была ли душа Метродора подлой или лживой, или его сердце оказалось ложным для благодарности и привязанности?"

"Нет, сын мой, нет, - ответил Эпикур, его лицо светилось добротой, а в глазах блеснули слезы. "Нет! Порок никогда не подавлял теплых чувств твоего сердца и не омрачал честной бесхитростности твоей души. Но, сын мой, пройдет несколько лет, и кто скажет, что *могло бы* быть? Поверь мне, никто не может безнаказанно испить чашу порока. Но вы скажете, что есть качества столь подлые или столь ужасные, что они выводят человека, управляемого ними, за пределы общения с добродетельными людьми. Злоба, жестокость, обман, неблагодарность - такие преступления, как вы думаете, не вызывают у осужденных за них более мягких чувств, чем отвращение, презрение и презрение. И все же, возможно, они не всегда были естественны для сердца, которым они сейчас движут. Роковые впечатления, порочный пример, воздействуя на пластичный каркас детства, могли извратить все прекрасные дары природы, исказить нежное растение из ростка и подавить в зародыше все цветы добродетели. Скажите, разве мы не должны сострадать нравственной болезни нашего брата и стараться вернуть ему здоровье? Но неужели зло не поддается лечению? Неужели разум исказился до неизменного уродства, а сердце испорчено до глубины души? Тогда гораздо больше, гораздо сильнее будет наше сострадание. Ибо разве не полно его несчастье, когда его ошибки не имеют надежды на исправление? О, сыновья мои! Злые могут причинять зло другим, но они никогда не смогут причинить такой боли, какую переживают сами. Я уверен, что из всех страданий, терзающих человеческое сердце, ни одно не сравнится с тем, что оно испытывает под властью пагубных страстей".

"О! - воскликнул Теон, с робким румянцем повернувшись к Эпикуру, - я давно знаю о силе добродетели, но, конечно, до этой ночи я никогда не чувствовал ее убеждения".

"Я вижу, ты не рожден для стоика, - улыбнулся учитель, - а что, сын мой, заставило тебя влюбиться в Зенона?"

"Его добродетели", - гордо ответил юноша.

"Его прекрасное лицо и прекрасный разговор", - ответил философ с игривой иронией. "Нет! Не обижайтесь", - и протянул руку к плечу Теона, который откинулся на диван рядом с ним. "Я очень восхищаюсь вашим господином и часто хожу его слушать".

"В самом деле!"

"В самом деле? Да, конечно. Неужели это так замечательно?"

"Вас там не было", - Теон остановился и в замешательстве посмотрел вниз.

"Сегодня, вы хотите сказать? Да, я был; и услышал описание себя, которое по приятности могло бы сравниться с тем, что написано в "Облаках" о старом Сократе. Молитесь, не находите ли вы, что это очень похоже?" Он откинулся на край кушетки и заглянул Теону в лицо.

2. Отсылка к комедии Аристофана, в которой Сократ был непристойно осмеян.

"Я... Я..." Юноша заикался и опускал глаза.

"Думай, что это так", - сказал мудрец, как бы завершая фразу за него.

"Нет, не думай, клянись, что это не так", - взорвался пылкий юноша, и вид у него был такой, будто он готов броситься к ногам философа. "О! Почему ты не выступил и не заставил лжеца замолчать?"

"Воистину, сын мой, лжец был слишком приятен, чтобы на него сердиться, и слишком нелеп, чтобы ему отвечать".

"И все же ему поверили?"

"Конечно".

"Но почему же тогда не ответить ему?"

"А я так и делаю. Я отвечаю ему в своей жизни. Единственный способ, которым философ должен отвечать глупцу или, как в данном случае, плуту".

"Я действительно в недоумении", - воскликнул Теон, вглядываясь то в лицо философа, то в лицо Леонтия, а затем обводя взглядом круг. "Я действительно в недоумении от удивления и стыда, - продолжал он, опустив глаза, - что послушал этого лжеца Тимократа! Каким же дураком ты меня считаешь!"

"Не более глупцом, чем Зенон", - ответил мудрец, смеясь. "То, что выслушал философ, я не могу поставить в вину ученому, если он поверил".

"О! Если бы Зенон знал тебя!"

"И тогда бы он точно возненавидел меня".

"Ты шутишь".

"Вполне серьезно. Разве вы не знаете, что тот, кто спорит с вашей доктриной, всегда должен спорить с вашей практикой? Ничто так не провоцирует, как то, что человек должен проповедовать порочно, а поступать добродетельно".

"Но вы не проповедуете порочно".

"Надеюсь, что нет. Но те, кто называет это так, да! и в честном сердце считает это так, проповедуют другое, не обязательно *лучшее*, учение".

"Но Зенон ошибается в вашем учении".

"Я не сомневаюсь, что он излагает его неверно".

"Он вообще заблуждается. Он считает, что у вас нет другого закона, другого принципа действия, кроме удовольствия".

"Он верит правильно".

"Правильно? Невозможно! Вы учите людей смеяться над добродетелью и предаваться роскоши и пороку".

"Вот он и верит в ошибку".

Теон смотрел, как чувствовал, с любопытством и неуверенностью. Он посмотрел сначала на философа, а когда тот не продолжил, робко обвел взглядом круг. На каждом лице была улыбка.

"Оргии закончены", - сказал Эпикур, вставая и с напускной серьезностью обращаясь к молодому коринфянину. "Ты видел ужасы ночи; если они оставили в тебе любопытство к тайнам дня, завтра на восходе солнца приходи в наш сад, и ты будешь посвящен".

ГЛАВА III.

Кони солнца еще не поднялись над горизонтом, когда Теон вышел на дорогу, ведущую в сад. Ворота оказались открыты. Дорога, по которой он вошел, была широкой и ровной, затененной с обеих сторон рядами пробковых, липовых, дубовых и других лучших деревьев леса: пройдя по ней некоторое расстояние, он внезапно вышел на прекрасную и разнообразную лужайку, по которой мягко и бесшумно скользил Иллис, теперь белевший серебром в бледном полумраке. Пересекая лужайку, он попал в густые заросли: апельсин, лавр и мирт нависали над его головой, а цветы, медленно раскрываясь навстречу утреннему ветерку и свету, роняли росу и духи. Роскошная расслабленность проникала в его душу; он дышал воздухом и чувствовал блаженство Элизиума. Медленными и размеренными шагами он пробирался по лабиринту, пока неожиданно не вышел на небольшой открытый участок с зеленью перед прекрасным храмом. Место это на три части было окружено лесом из цветущих кустарников, остальное опоясывал извилистый Иллис, по которому взор устремлялся к полянам и мягко вздымающимся холмам, чьи лона теперь сияли под красками Авроры. Здание было небольшим и круглым, дорическим, из паросского мрамора: вокруг него шел открытый портик, поддерживаемый двадцатью колоннами: крыша возвышалась куполом. Розовые оттенки востока падали на полированные колонны, как румянец любви на щеку Дианы, когда она стояла перед своим Эндимионом.

Теон остановился: сцена была небесной. Долго смотрел он в тихом и спокойном восторге, когда его взгляд привлек взмах одежды на одной из сторон храма - он прошел вперед и увидел фигуру, прислонившуюся к одной из колонн. Солнце в этот момент пролило свой первый луч над холмами: он упал на лицо сына Неоклеса: оно было поднято, а глаза застыли, как в глубокой задумчивости. Черты лица покоились в спокойствии мудрости: руки были сложены, а драпировка массаи ниспадала к ногам. Теон подлетел к нему, но вдруг остановился, боясь нарушить его мысли. На звук мудрец повернул голову: "Добро пожаловать, сын мой, - сказал он, выходя ему навстречу, - добро пожаловать в сад наслаждений, да будет он для тебя обителью мира, мудрости и добродетели!"

Теон склонил голову на руку мастера. "Научи меня, направь меня, сделай меня таким, каким ты захочешь - моя душа в твоей руке".

"Она еще нежна, еще чиста, - сказал Гаргеттиан, - годы укрепят ее - о, пусть они не запятнают ее! Посмотри на это светило! Прекрасное и великолепное на заре, оно набирает силу и красоту к своему меридиану, и в мире и величии уходит на покой. Так же поступай и ты, сын мой. Открой уши и глаза; познай и выбери то, что хорошо; вступи на путь добродетели, и ты пойдешь по нему, ибо он будет тебе мил. Нет на нем ни терний, ни трудностей, ни крутизны: подобно саду, в который ты сейчас вошел, все там - наслаждение и покой".

"Ах!" - вскричал Теон, - "как отличается добродетель в твоих устах и в устах Зенона".

"Учение Зенона, - ответил мудрец, - возвышенно: из его школы вышло много великих людей, из моей - целый мир. Зенон смотрит на человека, я - на людей: никто, кроме философов, не может быть стоиком; эпикурейцами могут быть все".

"Но, - спросил Теон, - разве существует больше одной добродетели?"

"Нет, но люди одевают ее по-разному: одни - в тучи и грозы, другие - в улыбки и удовольствия. Врачи, сын мой, больше спорят о словах, чем о делах, и больше о средствах, чем о цели. В портике, в Ликее, в Академии, в школе Пифагора, в Клубе Диогена учитель указывает тебе на добродетель; в Саду он указывает тебе на счастье. Теперь открой глаза, сын мой, и рассмотри эти два божества. Скажи, разве они не одно и то же? Добродетель, разве это не счастье? И разве счастье не добродетель?"

"Значит, в этом секрет вашего учения?"

"Никакой другой".

"Но-но, где же тогда спор? Воистину, как вы сказали, в словах, а не в делах".

"Да, в значительной степени, но не в полной: Мы все ухажеры добродетели, но ухажеры разного характера".

"И не может ли она тогда благоволить к одному из них больше, чем к другому?"

"Это вопрос, - игриво ответил Гаргеттиан, - на который каждый ответит в свою пользу. Если вы спросите меня, - продолжал он с одной из самых приятных своих интонаций и улыбок, - я отвечу, что считаю себя добродетельным, потому что моя душа спокойна".

"Если это ваш критерий, то вы должны вместе со стоиками отрицать, что боль - это зло".

"Ни в коем случае: напротив, я считаю ее величайшим из всех зол, и вся цель моей жизни и моей философии - избавиться от нее. Отрицать, что боль - зло, - это такая же ерунда, как отрицание движения у элеатов: для человека должно существовать то, что существует для его чувств; а что касается существования или несуществования, абстрагированного от них, то, хотя это и может праздный аргумент для пустого часа, он никогда не может войти как истина, из которой можно делать выводы, в практические уроки мастера. Отрицать, что боль - это зло, кажется более абсурдным, чем отрицать ее существование, что также было сделано, ведь ее существование очевидно только по ее воздействию на наши органы чувств; как же тогда признать существование и отрицать эффект, который один заставляет признать это? Но оставим эти вопросы диалектикам Портика. Я чувствую себя добродетельным, потому что моя душа спокойна: С дурными страстями я должен быть встревожен и

беспокоен; с неконтролируемыми аппетитами я должен быть расстроен как телом, так и разумом, - по этой и только по этой причине я избегаю и того, и другого".

"Только!"

"Только: добродетель - это удовольствие; если бы это было не так, я бы не следовал ей".

Теон готов был разразиться возмущенным изумлением: мудрец мягко положил руку ему на плечо и, улыбнувшись и наклонив голову, требуя внимания, продолжил: "Мастера, которые хотят, чтобы мы следовали добродетели ради нее самой, независимо от удовольствия или выгоды, которые мы можем найти в этом стремлении, - это возвышенные мечтатели, которые строят теорию, не исследуя основания, на которых ее строят, которые выдвигают доктрины, не исследуя принципов. Почему я смотрю на Амура Праксителя? Потому что он прекрасен; потому что он доставляет мне приятные ощущения. Если бы он не доставлял мне никаких приятных ощущений, разве я считал бы его красивым, разве я любовался бы им; разве вы назвали бы меня мудрым, если бы я отдал драхму за его обладание? Какое еще средство есть у нас, чтобы судить о вещах, кроме как по их воздействию на наши органы чувств? Итак, наши органы чувств являются судьями всех вещей, поэтому цель всех людей - удовлетворение своих чувств; другими словами, их цель - удовольствие или счастье: и если бы добродетель не способствовала этому, людям следовало бы избегать ее, как они теперь избегают порока".

"Значит, у вас нет удовольствия, кроме добродетели, и нет несчастья, кроме порока".

"Вовсе нет: я считаю добродетель только высшим наслаждением, а порок, или неуправляемые страсти и аппетиты, - худшим страданием. Другие удовольствия необходимы для создания состояния совершенной легкости, что и есть счастье; а другие страдания способны потревожить, а возможно, и разрушить покой самого добродетельного и мудрого человека".

"Я начинаю видеть больше оснований в вашей доктрине", - сказал юноша, глядя с робким румянцем в лицо Философа.

"И меньше чудовищной испорченности", - ответил Гаргеттиан, смеясь. "Мой юный друг, - продолжал он более серьезно, - научитесь впредь строить свои суждения на основе знаний, а не на основе сообщений. Легковерие - всегда смешной и часто опасный недостаток: оно сделало из многих умных людей дураков, а из многих хороших - плутов. Но вам нечего возразить мне? Вы говорите, что видите в моей доктрине больше разума, из чего следует, что вы считаете меня менее ошибочным, но не правым".

"Я молодой спорщик, - отвечал Теон, - и очень не гожусь для того, чтобы вступать в спор с таким господином".

"Из этого не следует, что плохой логик может хорошо понимать, а молодой ум может быть острым. Если в моих доводах есть истина, то не всякий философ увидит ее; а если нет, то не всякий логик сможет опровергнуть ее".

"Думаю, я мог бы выдвинуть некоторые возражения, - ответил Теон, - но они столь сбивчивы и неясны, что я почти боюсь их приводить".

"Смею сказать, я мог бы предотвратить большинство из них", - сказал Мастер. "Но я предпочел бы оставить твой разум в его собственном распоряжении. Подумайте об этом на досуге, и вы начнете задавать свои вопросы вечером или утром среди моих учеников. Знания

лучше передаются в диалоге, чем на лекции; и диалог не хуже, если в нем участвуют более двух собеседников. Итак, наша прогулка по городу подошла к концу. Давайте посмотрим, какие здесь друзья. Наверняка слышны голоса".

Их путь был кружным и снова привел их к храму. "Это мое любимое жилище", - сказал Мудрец, поднимаясь по благородным ступеням и входя в открытую дверь. Просторная, сводчатая и круглая квартира занимала всю площадь здания. Стены украшали прекрасные копии лучших произведений Зевксиса и Паррасия, а также несколько прекрасных оригиналов Аппелла. В центре на пьедестале возвышалась статуя, единственная в квартире. Это была Венера Урания работы Лисиппа, избранная в качестве божества, возглавляющего сады добродетельных удовольствий. Потолок, возвышающийся в виде благородного купола, представлял собой небеса - земля темно-синего цвета; звезды, солнце и планеты - золотого цвета. Но вскоре внимание Теона привлекли две живые фигуры. В одной из них он узнал Метродора, хотя накануне вечером не особо следил за его лицом. Он стоял у мольберта художника. Его фигура была скорее изящной, чем величественной, лицо - скорее выразительным, чем красивым. Глаза, темные, пронзительные и блестящие, были устремлены серьезным взглядом живописца на его живой кабинет. Лоб был коротким, сильно приподнятым на висках и необычно нависшим над бровями. Волосы темного блестящего каштанового цвета, короткие и завитые. Щеки в этот момент сильно покраснели от нетерпения и, возможно, нетерпеливости художника. Рот изгибался сладострастно, но не без примеси сатиры; подбородок, изогнутый вверх, слегка греческий, способствовал этому выражению. Его ученицей была Леонтия. Она стояла, а не прислонялась, к пилястре стены; одна ее рука опиралась на мраморную плиту, на ней лежала развернутая книга, наполовину в раскрытой ладони. Другая рука, частично скрытая драпировкой, свободно опустилась на бок. Ее прекрасное лицо слегка повернулось через левое плечо, чтобы встретить взгляд художника. Ни один мускул не дрогнул; губы, казалось, не дышали: такая спокойная, такая бледная, такая неподвижная - она выглядела статуей; такая благородная, такая сурово прекрасная - она была Минервой Фидия.

"Я не могу этого сделать!" - воскликнул Метродор, отбросив карандаш. "Я должен был быть Аппелем, чтобы принять это лицо". Он с отвращением оттолкнул мольберт.

"Что!" - сказала Леонтия, ее тонкие черты лица расплылись в небесной улыбке, - "и неужели все мое терпение пропало даром?"

"Я неразумный слепой беотиец! Дикий спартанец!" - продолжал разочарованный художник. "Вот!" - и, схватив кисть, собрался разрушить свою работу.

"Ради твоей жизни!" - вскричал Леонтий и, подавшись вперед, отдернул руку. "О, безумное нетерпение гения! Друг, если бы мое лицо было хоть наполовину таким прекрасным, как это, Юнона бы ему позавидовала".

"А кто знает, что это не так? Мазила, мерзкий мазила!" - все еще бормотал нетерпеливый ученый, но его лицо постепенно, как бы вопреки самому себе, ослабляло гнев, и он с улыбкой встретил взгляд Леонтия.

"А вон стоят магистр и молодой коринфянин и смеются над тобой", - сказал Леонтий.

Они подошли. "Ты судья?" - спросил Метродор у Теона.

"Боюсь, что нет, хотя признание омрачит мои комплименты".

"А я - да", - шутливо сказал гаргетянин: "И хотя у меня есть все склонности в мире, я не могу спорить с исполнением. Хорошо очерчено и тонко прорисовано. Поза и воздух точно переданы. Черты лица тоже - возможно, единственное, на чем может споткнуться моя недоброжелательность, - возможно, выражение лица слишком цветущее и менее душевное, чем в оригинале".

"А вот и оно!" - вскричал ученый, его лицо вновь обрело всю свою досаду. "Взгляд идиота, а не гения".

"Не совсем так: только Геба вместо Юноны. Больше похоже на нашу Гедею".

"Как чудовище!" - пробормотал разгневанный художник.

"О! Геракл, о! Геракл!" - вскричал мудрец. "Что значит натирать больное место! Лучше сломать человеку ногу, чем провести перышком по раздробленной голени. Если бы я (повернувшись к Теону) сказал ему, что он нарисовал горбатого Терсита, он бы скорее благословил меня, чем за этот милый комплимент в виде цветущего лица Гебы".

"Я мог бы с тем же успехом нарисовать как одного, так и другого: они одинаково похожи на оригинал".

"Я должна поклониться этому комплименту", - сказала Леонтия, положив руку на грудь и с напускной серьезностью наклонившись к художнику.

Он тщетно пытался удержаться от смеха, а затем обратился к мастеру: "Что бы вы хотели, чтобы я переделал?"

"Если вы возражаете против гебиста, то непременно в философа. Немного посеребрите голову, и из нее может получиться восхитительный Эпикур".

"Нет! Не приводи безумца в ярость", - сказала Леонтия, положив руку на плечо Метродора; затем, обращаясь к Теону: "Молись, юноша, если хочешь быть философом, никогда не находи глаз для живописи, палец для музыки, или мозг для поэзии. Любое из них удержит человека от мудрости".

"Но не женщину, я полагаю", - возразил Метродор, - "поскольку у тебя есть все три".

"Готов к комплиментам сегодня утром: но если бы ты хотел получить за это поклон, тебе следовало бы отвесить его с более любезным лицом. Но пойдем, мой бедный друг; мы постараемся привести тебя в хорошее настроение - нет ничего лучше, чем немного лести для этого. Вот, мой юный коринфянин! (проходя в другой конец комнаты к недавно законченной картине, стоявшей у стены, и подзывая к себе Теона) ты можешь без труда оценить красоту этой работы и совершенство сходства".

Картина действительно была поразительной. "Восхитительно!" - воскликнул Теон после долгого восхищенного взгляда, а затем повернулся, чтобы сравнить ее с оригиналом.

"Немного польщен, и, боюсь, даже больше, чем немного", - с улыбкой сказал Эпикур, двигаясь к ним.

"Польщен!" - воскликнул Метродор; "Паррасий не мог польстить такому оригиналу".

"Ты видишь, как портят меня мои ученые", - сказал Гаргеттиан Теону.

"Но ты думаешь, - продолжал Метродор, - что я поступил с ней справедливо".

"Гораздо больше, чем обычную: это сам ваш хозяин. Достоинство его фигуры, изящество позы, благородство черт, божественная доброта выражения... Если бы мы не поклонялись оригиналу, мы могли бы поклоняться твоей копии".

Их прервал вход толпы учеников, в разгар приветствий которых вбежал молодой Софрон, задыхаясь от бега и судорожного смеха.

ГЛАВА IV.

"Приготовьтесь! Приготовьтесь!" - кричал запыхавшийся ученый. "О, Поллукс! Такая пара! От такого контраста и скиф бы скончался".

"В чем дело? В чем дело?" - вскричали десятки голосов.

"Я объясню прямо - дайте мне отдышаться, и все же я должен быть быстрым, ибо они идут за мной по пятам. Грифус, циник - некоторые из вас, должно быть, видели его. Так вот, он идет бок о бок с молодым Ликаоном".

"Идет сюда!" - сказал хозяин, улыбаясь. "Что могло удостоить меня чести такого визита?"

"О! Ваша слава, конечно же".

"Я подозреваю, что ты делаешь из старого циника дурака", - сказал Эпикур.

"Если он и дурак, то и без моей помощи: Мы с Ликаоном стояли на ступенях Пританея, о чем-то споря, забыл о чем, когда к нам подошел Грифон и, остановившись у подножия ступеней, спросил: "Вы ученики Эпикура из Гаргеттиума?" "Мы", - ответил я, а Ликаон только стоял, изумленно глядя на меня. Тогда вы можете показать мне дорогу к нему". "От всего сердца", - снова ответил я, а Ликаон все еще не мог найти язык. Мы сейчас в Садах и сочтем за честь быть проводниками столь необычной персоны". Я хотел поставить его между нами, но Ликаон, похоже, не рассчитывал на свою долю в этом отличии и, отступив назад, проскользнул ко мне с другой стороны. О Юпитер! Я никогда не забуду контраст между двумя моими спутниками. Грубый, грязный, волосатый циник по правую руку от меня и тонкий, гладкий, нежный, симпатичный аристиппиец по левую. За нами увязалась вся улица. Ликаон хотел было улизнуть, но я крепко держал его за рукав. Когда мы были уже совсем в Садах, я подставил им подножку на перекрестке и побежал дальше, чтобы, как видите, вовремя предупредить. Но вот! Вот!"

Две фигуры появились в дверях. Контраст был не менее необычен, чем представлял ученый; раздался слабый предвестник всеобщего смеха, который, однако, своевременный взгляд магистра мгновенно пресек. По легкости фигуры и нежности черт и цвета лица Ликаона можно было принять за женщину: кожа его была бела, как у лилии, и румяна, как у розы; губы - кораллового цвета; волосы мягкие и струящиеся; по текстуре - шелк, по цвету - золото; платье подобрано с тщательной аккуратностью, а уложено с изысканной элегантностью: туника из белейшего и тончайшего льна, скрепленная у плеча прекрасным ониксом: поясок изысканной вышивки и мантия из богатейшего тирийского полотна, ниспадающая пышными складками с плеч и через правую руку, которая изящно поддерживала ее длину, для большего удобства при ходьбе: сандалии пурпурные, с пуговицами из золота. Гриф,

невысокий, квадратный и мускулистый; его туника из самой грубой и не самой чистой шерсти, местами изношенная до нитки, с одной открытой прорехой значительной величины, которая доказывала, что кожа была так же хорошо скреплена, как и ее покрытие; его пояс - веревка: Его плащ, или скорее тряпка, имел вид паруса, снятого с обломков старого торговца; ноги были босыми и густо припудрены пылью; на лице можно было различить только нос; нижняя часть была скрыта кустистой и широко разросшейся бородой, а верхняя - обилием длинных, спутанных и грязных волос. Удивленные ученики открыли проход для этого необычного нарушителя, который, не глядя ни вправо, ни влево, прошел дальше и остановился перед Эпикуром.

"Полагаю, ты и есть Учитель, судя по тому, сколько ненужных хлопот ты прилагаешь, чтобы встретиться со мной".

"Когда Гриф, возможно, прошел мимо, чтобы встретиться с Эпикуром, Эпикур может без особых проблем пройти шаг, чтобы встретиться с Грифом".

"В моей прогулке на мило, - ответил циник, - не было никаких проблем: Я сделал это ради собственного удовольствия".

"И в прогулке на один шаг я тоже не отказал себе в удовольствии".

"Да, удовольствие от церемонии!"

"Тогда я могу надеяться, что ваш визит вызван чем-то большим, чем церемония, - возможно, чувством настоящей дружбы или знаком вашего хорошего мнения".

"Я ненавижу бесполезные слова, - ответил циник, - и пришел сюда не для того, чтобы произносить их или слушать. В последнее время я слышал, что о вас много говорят. Наши улицы и портики вечно гудят вашим именем, пока все мудрецы не устали от него. Я пришел сказать тебе об этом и посоветовать немедленно закрыть ворота своих садов и прекратить речи господина, ибо ты только выдаешь себя за философа среди глупцов и за глупца среди философов".

"Я благодарю тебя за честный совет и информацию, друг; но поскольку цель мастера - учить не мудрых, а только неразумных, не думаешь ли ты, что я могу еще побеседовать с глупцами с некоторой целью, хотя Грифус и все мудрецы, конечно, справедливо будут относиться ко мне с презрением?"

"И чтобы глупцы стали мудрыми, мудрые должны страдать от глупости?"

"Нет, ты, конечно, перестанешь считать глупостью то, что может сделать глупца мудрым".

"Дурак мудр! А кто, кроме дурака, считает это возможным?"

"Допускаю, что это трудно: но разве не трудно иногда определить, кто дурак, а кто нет? Среди моих ученых некоторые, несомненно, могут быть дураками, а некоторые, возможно, и нет".

"Нет, - прервал его циник, - иначе они не были бы вашими учеными".

"Ах! Я сам дурак. Вот и вспомнил! Я и забыл, что это одна из наших предпосылок. Но раз я дурак, а все мои ученые - дураки, то я не вижу, какой вред можно причинить, если я буду говорить глупости или они будут к ним прислушиваться".

"Нет, если бы мудрые люди не были вынуждены прислушиваться к ним. Я говорю тебе, что наши улицы и портики гудят от твоего имени и твоих глупостей. Держи всех афинских дураков в своих садах, запирай ворота, и можешь проповедовать глупость так долго и так громко, как тебе заблагорассудится".

"У меня есть только одно возражение против этого, а именно: мои сады не вместят всех афинских глупцов. Предположим, что мудрецы, будучи меньшим числом, будут закрыты в саду, а город и остальная Аттика останутся для глупцов?"

"Я же говорил тебе, - гневно воскликнул киник, - что ненавижу бесполезные слова".

"Нет, друг, зачем же тогда проходить мимо, чтобы говорить мне советы? Нет таких бесполезных слов, как те, что бросают дураку".

"Очень верно, очень верно"; сказав это, незнакомец повернулся спиной и вышел из храма.

"Вот, - сказал сын Неоклеса своим улыбающимся ученикам, - хорошее предостережение для всех или каждого из нас, кто хочет стать философом".

"Нет, учитель, - воскликнул Софрон, - неужели ты думаешь, что нам грозит опасность последовать приятному примеру этого дикаря? Неужели ты ожидаешь увидеть там Ликаона с бородой, головой и одеждой по примеру Грифуса?"

"Не бороду, голову и одежду, пожалуй, - ответил гаргетянин, - гордость, тщеславие и честолюбие могут быть менее страшными прикрытиями, чем эти".

"Гордость, тщеславие и честолюбие? Я бы скорее заподозрил Грифуса в отсутствии всех этих трех качеств".

"Нет, сын мой, поверь мне, все эти три качества были задействованы при вырезании этих трех страшных придатков на лице нашего циника. Гордость не всегда заставляет человека разрубить гору Афон надвое, как Ксеркса; честолюбие - завоевать мир и плакать, что еще не завоеван, как Александра; тщеславие - смотреть в ручей на собственное лицо, пока не влюбишься в него, как Нарцисс. Когда мы не можем постричься на Афоне, мы можем оставить бороду нестриженной; когда мы не можем взойти на трон, мы можем заползти в ванну; и когда у нас нет красоты, мы можем увеличить наше уродство. Если человек с небольшими или даже умеренными способностями охвачен большим желанием отличиться, для него нет ничего слишком абсурдного, возможно, ничего слишком озорного. Наш друг, циник, к счастью для себя и своих ближних, кажется, склонен к абсурду. Эрострат пошел на озорство, чтобы увековечить свое имя, разрушив тот храм, постройкой которого Ктесифон обессмертил свое. Да будет нам известно, что мы должны держаться в стороне как от одного, так и от другого".

"Значит, ты, - спросил Теон, - считаешь желание отличиться порочным?"

"Я думаю, что часто это опасное желание, и очень часто - несчастное".

"Но, несомненно, очень часто оно бывает удачным", - сказал Леонтий. "Без него разве существовал бы когда-нибудь герой?"

"И возможно, - с улыбкой ответил мудрец, - мир был бы так же счастлив, если бы его не было".

"Ну, а если бы не было Ахилла, был бы Гомер?"

"Я согласен с вами", - более серьезно ответил Мастер. "Желание отличиться, хотя часто опасное и часто несчастливое желание, также часто, хотя я думаю, что здесь *иногда* было бы более подходящим словом, удачное. Оно опасно в голове глупца; несчастливо в голове человека со средними способностями или неблагоприятным положением, который может представить себе благородную цель, но не имеет таланта или средств, необходимых для ее достижения. Счастье - только в голове гения, сердце мудреца и в положении, удобном для его развития и удовлетворения. Эти три качества, как вы понимаете, не часто встречаются в одном человеке".

"И все же, - сказал Теон, - сколько великих людей произвели на свет Афины?"

"Но разве из этого не следует, что они были счастливы?"

"Счастливы они или нет, кто откажется от своей судьбы?"

"Мне нравится это чувство, - ответил Гаргеттианец; - и я с ним не согласен. Судьба величия всегда будет завидной, даже когда самые мрачные бури нарушают ее ход. Заслуженная слава сама по себе доставляет удовольствие, настолько превосходящее все удовольствия, что она может сравняться со всеми накопленными смертными бедствиями. Допустим, что наши великие люди были удачливы; много ли их, как вы говорите, - увы, сын мой, их можно пересчитать по пальцам. Поколение, самое блестящее по гениальности, оставляет из своих тысяч и миллионов лишь трех или четырех, или дюжину, для поклонения, даже для знания будущего."

"И эти, только эти трое, четверо или дюжина имеют право на желание отличиться?"

"Что касается права, - игриво ответил мудрец, - то я не хочу его оспаривать. В нашей демократии все люди имеют право сидеть в ванне или ходить в грязной тунике".

"Но вы не допускаете никакого конца в амбициях, кроме абсурдного".

"Я плохо выразился, или вы плохо меня поняли, если сделали такой вывод. Я, конечно, допускаю, что у наших великих людей были великие цели в честолюбии".

"Но разве только великие люди или люди, которым суждено стать великими, могут иметь такие цели?"

"Я допускал, что и другие могут; я только сказал, что в результате они будут несчастны. Совершенство мудрости и цель истинной философии в том, чтобы соразмерять наши желания с нашим имуществом, наши стремления с нашими возможностями".

"Значит, - вскричал Метродор, - сегодня утром я в значительной степени доказал, что не являюсь философом, когда выбрал занятие, недоступное моему карандашу".

"Нет, - сказал Леонтий, игриво потрепав его по плечу, - Мастер проведет различие между тем, что недоступно нашим возможностям, и тем, что недоступно нашей практике. Эрострат мог *никогда не* планировать разрушенное им здание; Ктесифон не *всегда* мог его планировать". Улыбка, сопровождавшая эти слова, озарила лицо Метродора еще более ярким светом. Теон догадался, что он испытывает к этой ученице нечто большее, чем восхищение, и нечто большее, чем дружбу.

"Ваше замечание было очень своевременным и метким, - сказал Мастер, - и избавило меня от лишних разговоров".

"Я не уверен в этом, - воскликнул Софрон, подавшись вперед, - ибо, хотя Леонтий так хорошо сформулировал различие между недостатком способностей и недостатком практики в целом, я хотел бы получить ответ, как человек должен проводить это различие между своими собственными способностями в частности? Например, мне вздумалось стать философом, и вытеснить своего учителя; как мне при первых же неудачах в логике или изобретательстве определить, в чем мой недостаток - в способностях или в практике?"

"Если только в последнем, то, полагаю, вы легко это поймете; если в первом, то не так легко. Человек, начавший поиск, быстро обнаружит свои таланты; он может продолжать его до самой смерти, так и не обнаружив своих недостатков. Причина проста: первое вредит нашему самолюбию, второе - льстит ему".

"И все же, - прервал Теон, - мне кажется, в моей первой беседе с философом Гаргеттиумом он заметил, что тысячи людей имеют в себе семена совершенства, которые так и не обнаружили их".

"Вижу, у вас хорошая память, - ответил Мастер, - я так говорил и думаю до сих пор. Многие могли бы стать героями и многие философами, если бы у них было желание стать теми или другими; если бы случай или честолюбие заставили их заглянуть в себя и поинтересоваться своими способностями; но если спрятать драгоценности в мешке с овсом, их никогда не найдут, если только не перетряхнуть овес. Однако помните, что сейчас мы говорим только об одном классе людей - амбициозных: в амбициозных людях никогда не будет семян, плохих или хороших, которые не дадут должного плода. Честолюбие - это и необходимый стимул для великого ума к великим действиям; когда же оно действует на слабый ум, то побуждает его к абсурду, или же портит его недовольством".

"Нет, тогда, - сказал Софрон, - это опасный обитатель, если говорить об уме; и мне, например, лучше не иметь ничего подобного, ибо я сомневаюсь, что не рожден быть Эпикуром, и уверен, что у меня нет склонности быть Грифом".

"Что ж, - сказал Мастер, - по крайней мере, мы должны поблагодарить Грифуса за наш утренний диалог. Если кто-то из нас захочет продолжить его, мы можем сделать это за трапезой - солнце уже достигло своего полудня, так что давайте отправимся в баню".

Они вышли из храма и, пересекая сады в направлении, противоположном тому, по которому Теон вошел, вскоре добрались до ворот, которые, к его удивлению, открылись на площадку у дома Гаргета, того самого, в котором он ужинал предыдущим вечером.

ГЛАВА V.

Пыл дня пошел на убыль, когда Теон вышел на улицу из дома Эпикура: в этот миг он встретился взглядом со своим другом Клеанфом; он бросился его обнимать, но молодой стоик отступил со смешанным изумлением и ужасом: "Боги! Из дома Эпикура?"

"Я не удивляюсь твоему удивлению, - ответил Теон, - и, если вспомнить мои вчерашние чувства, не удивляюсь твоему негодованию".

"Ответь мне скорее, - прервал его Клеанф, - Теон все еще мой друг?"

"А разве Клеанф в этом сомневается?"

"В чем же мне не сомневаться, когда я вижу, что ты приехал из такого особняка?"

"Нет, брат мой, - сказал Теон, ласково обнимая друга за шею и увлекая его за собой, - я не был ни в особняке порока, ни в особняке глупости".

"Я не понимаю тебя, - ответил стоик, наполовину уступая его доброте, - я не знаю, что думать и чего бояться".

"Ничего не бойся и думай только о хорошем", - ответил коринфянин: "Правда, я пришел из садов удовольствий, где мало слышал о наслаждении и много о добродетели".

"Я вижу, как это бывает", - ответил другой; "Ты потерял свои принципы, а я - своего друга".

"Не думаю, что я утратил первые, и очень уверен, что вы не утратили последние!"

"Нет!" - воскликнул Клеанф; "но я говорю вам, да"; щеки его покраснелись, а глаза вспыхнули от негодования: "Я потерял своего друга, а ты - своего. Иди!" - продолжал он, вырываясь из рук Теона. "Уходи! Клеанф не может общаться с отступником и распутником".

"Ты ошибаешься во мне, и ты ошибаешься в Эпикуре, - сказал его друг тоном скорее упрека, чем гнева, - но я не могу винить тебя; вчера я сам был так же несправедлив. Ты должен увидеть его, ты должен услышать его, Клеанф. Только это может обмануть тебя, убедить тебя в моей невинности и в добродетели Эпикура".

"Добродетель Эпикура! Твоя невинность? Что такое Эпикур для меня? Кем он является или должен быть для вас? Ваша невинность? И это прикреплено к мантии Эпикура: видеть его, чтобы убедиться в вашей невинности?"

"Да, и в твоей собственной несправедливости: О, Клеанф, каким глупцом я был! Что слушал ложь Тимократа! Верил всем его нелепостям! Пойдем, друг мой! Пойдем со мной и посмотрим на лицо Мастера, которого он хулит!"

"Теон, один господин, и только один, - мой. Для меня не имеет значения, преувеличивает ли Тимократ или даже лжет".

"Имеет, или должно иметь", - сказал коринфянин. "Неужели ученик Зенона не откроет глаза на истину? Не увидит ошибку и не искупит ее, признав ее? Я не прошу тебя быть учеником Эпикура - я лишь прошу тебя быть справедливым по отношению к нему, и то ради себя самого, а не ради меня или даже его".

"Я вижу, что вы обольщены, вижу, что вы потеряны", - вскричал стоик, устремив на него взгляд, в котором печаль боролась с негодованием. "Я считал себя стоиком, но в моих глазах чувствуется слабость женщины... Ты был таким же, как мой брат, Теон; и ты - тебя тоже обольстили сирены: ты оставил добродетель ради удовольствия, Зенона ради Эпикура".

"Я не оставлял Зенона".

"Ты не можешь следовать обоим - ты не можешь быть днем и ночью в одно и то же время".

"Я говорю тебе, что в садах Эпикура нет ночи".

"Неужели там нет удовольствия?" - вскричал стоик, его рот и брови искривились от иронии.

"Да, там есть наслаждение: наслаждение мудростью и добродетелью".

"Ах! Неужели вы так быстро научились гаргетовским тонкостям? Ты, несомненно, уже поклонялся добродетели в образе придворного Леонтия, а мудрости - в образе ее хозяина и супруга, сына Неоклеса".

"Как мало ты знаешь ни о том, ни о другом!" - ответил Теон. "Но вчера я знал так же мало".

Клеанф остановился. Они стояли перед стоическим портиком. "Прощай! Возвращайтесь в свои сады. Прощайте!"

"Мы еще не расстались, - сказал Теон: "Зенон все еще мой господин". Он последовал за своим другом вверх по ступеням. Там собралась толпа учеников, ожидавших прибытия своего учителя. Одни, сбившись в группы, слушали речи старшего или более способного ученого; другие, разбившись на группы по шесть или дюжине человек, рассуждали, спорили и дискутировали; бесчисленные одинокие фигуры, не привлекая внимания окружающих, прислонялись к колоннам, изучая каждый по рукописи, или стояли на ступенях со сложенными руками и опущенными на грудь головами, погруженные в молчаливые размышления. При появлении Клеанфа, любимого ученика своего учителя, ученые расступились, и громкий гул постепенно затих. Он прошел в центр, и плавающая толпа собралась и сжалась в широкий и глубокий круг. Все взгляды устремились на юношу с ожидаемым любопытством, ибо лицо его было озабоченным, а манеры резкими.

Клеанф был среднего роста: такой стройный, что удивляешься прямоте его походки и активности движений. Шея у него была небольшая, плечи покатые, голова изящной формы, волосы гладкие и аккуратно уложены, лоб узкий и несколько глубоко очерченный для столь юного человека, брови четкие и ровные, если не считать легкого изгиба вверх, как бы нахмурившись, над носом. Глаза голубые, но взгляд их был слишком серьезен, а дух слишком ясен, чтобы в них осталась хоть какая-то тающая мягкость, столь обычная для этого цвета: все же бывали моменты, когда она появлялась в них; и когда она появлялась, то западала в душу тому, кто ее замечал, но такие моменты были короткими и редкими. Нос был тонко и, пожалуй, слишком изящно вздернут, рот - мягкий и всегда спокойный. Щеки были тонкими, и, хотя лицо слегка покраснелось, оно имело бледный вид, пока не проснулся энтузиазм и не усилил все его краски. Во всем выражении лица было больше одухотворенности и разнообразия, а в манерах - больше волнения, чем можно было ожидать от первого и любимого ученика Зенона. Юноша обвел быстрым взглядом круг: он вскинул правую руку; мантия упала с его плеча, и разнообразным, пронзительным и в то же время мелодичным голосом он начал: "Друзья мои!

"Друзья мои! Мои братья! Ученики Зенона и добродетели! Внемлите мне и пробудите свои способности! Как мне рассказать об опасностях, которые вас окружают? Как нарисовать демона, который заманивает вас в ловушку; Тимократ вырвался из своих чар и рассказал нам, что в его залах царили разгул и веселье, в его устах - нечестие, в его занятиях - порок, в его облике - уродство; и мы думали, что никто, кроме душ, рожденных для заблуждений, уже погрязших в бесчестии или утонувших в женственности, не может быть вовлечен в его сети и соблазнен его примером. Но вот! Он изменил свой облик, изменил свой язык: среди своих кутежей он облачился в одежды благопристойности: в своем разгуле он говорит о невинности, в своем разврате - о добродетели. Посмотрите на молодежь! Они бегут к нему с жадными ушами, толпятся в его садах и на его портиках. Афины, Атика, Греция - все они принадлежат Гаргетам. Азия, Италия, пылающая Африка и замерзшая Скифия - все, все посылают к его ногам готовых учеников. О! Что мы скажем? Как остановить поток? Как оградить наши сердца и уши от песни Сирена? К какой мачте мы привяжем себя, какому лоцману доверимся, чтобы пройти берега в безопасности, не разбившись о скалы? Но почему я говорю? Зачем я спрашиваю? Зачем я увещаю? Разве зараза уже не среди нас? В школе Дзено - в этом портике - в этом кругу - разве нет отступников - да, разве нет отступников?" Эмоции заглушили его слова: он сделал паузу и окинул аудиторию горящими глазами. Каждый затаил дыхание в ожидании; каждый смотрел на другого с сомнением,

тревогой и вопросами. Сердце Теона учащенно забилося: он сделал шаг вперед и поднял руку, чтобы заговорить; но Клеанф, собрав дыхание, снова заговорил быстрым голосом: - Я не знаю, что делать.

"Говорит ли это молчание об осознанной вине или о пораженной невинности? Последнее: Я поверю последнему. Хвала богам! Хвала нашей покровительнице Минерве! Хвала нашему великому, нашему славному господину, что в Афинах и Греции еще остались сыновья, которые будут уважать, следовать и достигать добродетели! Несколько избранных и дисциплинированных душ, которые станут светом и украшением своего века, и чьи имена будут в чести у тех, кто еще не родился. Пробудите, пробудите свои силы! О! Будьте тверды к Зенону и к добродетели! Я не говорю вам - Зенон не говорит вам, - что добродетель можно найти в отдыхе от удовольствий. Соппротивление, энергия, бдительность, терпение и выносливость - все это должно стать вашей практикой, должно стать вашей привычкой, прежде чем вы сможете достичь совершенства своей природы. Подъем крут, долг, труден. Сегодня вы должны подняться на ступеньку, завтра - на ступеньку, завтра - на ступеньку, завтра - на ступеньку, и все же вы будете далеки от вершины, от отдыха и безопасности. Вас это ужасает? Это вызывает у вас отвращение? Тогда идите в Сады! Идите к человеку из Гаргеттиума - тому, кто называет себя философом, а сам любит и учит глупости! Идите, идите к нему, и он ободрит и успокоит вас. Он положит конец твоим поискам и даст волю твоим амбициям! Он покажет вам добродетель, облаченную в удовольствия и расслабленную! Он научит тебя мудрости в песне и счастью в нечестии! Но мне говорят, что Тимократ солгал; что Эпикур не распутник, Леонтий не проститутка, а молодежь Сада - служители их похоти. Да будет так. Тимократ должен сам отвечать, будет ли его рассказ изливанием возмущенной правды или тонкой выдумкой злонамеренности: его собственная совесть - это тайна: для нас это не имеет никакого значения. Мы, не имеющие никакого отношения к доктринам Эпикура, не имеем никакого отношения и к его практике. Пусть тот, кто хочет оправдать одно, оправдает другое: пусть он выйдет и скажет, что мастер в Садах не только чист в действии, но и совершенен в теории. Пусть скажет, что он поклоняется добродетели как добродетели и сторонится порока как порока. Пусть скажет, что он вооружает душу стойкостью, облагораживает ее великодушием, наказывает ее воздержанием, расширяет ее благодеяниями, совершенствует ее справедливостью; - и пусть еще скажет, что он делает это не для того, чтобы душа, обученная и оживленная таким образом, лежала в покое добродетели, но чтобы она могла ликовать в ее почете и быть приспособленной к ее деятельности. Да будет проклята та добродетель, которой руководит только благоразумие! Которая учит быть справедливым, чтобы законы не наказывали, а соседи не мстили; - быть стойким, потому что жалобы бесполезны, а слабость навлечет на нас оскорбление и презрение; - быть умеренным, чтобы наше тело сохраняло бодрость, аппетиты - остроту, а удовольствия и чувственность - изюминку; - служить друзьям, чтобы они служили нам; - нашей стране, потому что ее защита и благополучие связаны с нашей собственной. Все это хорошо, но разве есть что-то еще? Разве мы должны изучать только наше удобство, а не наше достоинство? - Даже если бы все мои собратья были сметены, и не осталось бы ни одного смертного или бессмертного глаза, чтобы одобрить или осудить, разве не должен я здесь, в этой груди, иметь судью, которого можно бояться, и друга, которого можно примирить? Благоразумие и удовольствие! Не из таких ли принципов, как эти, брали начало и питались добродетели Солона, Мильтиада, Аристиды, Сократа, Платона, Ксенофонта, всех наших героев и всех наших мудрецов? Была ли это та добродетель, которая в Ликурге отложила предложенную корону, - которая в Леониде стояла при Фермопилах, - которая в умирающем Перикле превозносила то, что он никогда не заставлял граждан скорбеть? Неужели именно такая добродетель, как эта, говорила в Сократе перед судьями,

поддерживала его в темнице, а когда дверь была открыта и паруса готового корабля развернуты, заставила его предпочесть смерть бегству, достоинство - существованию?"

Молодой оратор снова сделал паузу, но его возмущенная душа, казалось, все еще говорила из его горящих глаз. Щеки его пылали, как огонь, а со лба катились крупные капли. В этот момент круг позади него расступился. Зенон вышел в середину: он возвышался над толпой на голову и плечи: грудь его была широкой и мужественной, конечности - сильными и симметричными, походка - прямой, спокойной и величавой, черты лица - крупными, величественными и правильными, казались изваянными резцом для колоссального божества: Лоб, широкий и спокойный, был отмечен ровными линиями мудрости и возраста; но ни грубые морщины, ни играющие мускулы не нарушали спокойствия его щек, ни шестьдесят лет не тронули ни одной ниткой серебра его черные волосы; глаза, темные и полные, окаймленные длинными прямыми ресницами, смотрели в суровой и неуклонной мудрости из-под правильных и тонко изогнутых бровей: нос сходил со лба, прямой и ровный: рот и подбородок, были тверды и молчаливы. В его лице, осанке и походке сквозили непоколебимая мудрость, непоколебимая стойкость, самоуважение, самообладание и самопознание.

Он остановился перед юношей, который повернулся при его приближении. "Сын мой, - устремив спокойный взгляд на работающий лик своего ученика, - что тревожит твою душу?" Клеанф положил руку на его измученную грудь: он сделал одно неистовое усилие, чтобы сохранить спокойствие и речь, но оно не удалось. Горячая кровь отхлынула от его щек, снова прилила, снова отхлынула, он задышался и упал в обморок к ногам своего Учителя.

ГЛАВА VI.

Теон бросился вперед: он опустил на колени; он поднял голову своего друга: Задыхаясь, взволнованный, испуганный, он звал его по имени пронзительным криком агонии и отчаяния. Вокруг царили суматоха и смятение. Ученые бурно выступили вперед, но Зенон, подняв руку и пристально глядя вокруг, крикнул "Молчать!". Толпа отступила, и наступила ночная тишина. Затем, указав кругу на улицу, чтобы они расступились и вышли на воздух, он опустил и помог Теону поддержать своего ожившего ученика. Клеанф поднял голову, дико вращал глазами по сторонам, а затем устремил их на своего учителя.

"Осторожно, - сказал Зенон, глядя, как юноша бьется в их объятиях, пытаюсь опомниться, - осторожно, сын мой". Но юноша сделал усилие: он встал на ноги и, протянув руку к ближайшей колонне, повернул голову в сторону и несколько мгновений молча боролся со своей слабостью. Его конечности все еще дрожали, а лицо еще имело оттенок смерти, когда, судорожно прижав руку к столбу, он гордо поднялся, снова обратил свой взгляд на своего господина и, сдерживая прерывистое дыхание, сказал: "Вини меня, но не презирай меня".

"Я не буду делать ни того, ни другого, сын мой: слабость была в теле, а не в разуме".

"И в том, и в другом была нехватка командования. Я не прошу меня оправдывать". Затем, обернувшись к своим спутникам, он сказал: "Я могу быть предупреждением, если не примером. Спартанцы подвергают пьянству своих гелот, чтобы утвердить свою молодежь в трезвости: пусть слабость Клеанфа научит сыновей Зенона хладнокровию; и пусть они

скажут: если в портике обнаруживается слабость, то какова же она будет в садах? Но, - продолжал он, обращаясь к своему господину, - простит ли Зенон того ученого, который, навязывая другим свои нервные доктрины, сам от них отступил?"

"Ты судишь о своей вине так, как должен был бы судить, - ответил Зенон, - но утешься, сын мой! Тот, кто знает и может признать свой недостаток, хотя его нога и не стоит на вершине, все же смотрит туда. Но назови причину, и, конечно, она должна быть велика, чтобы нарушить самообладание моего ученика".

"Причина действительно была велика; не менее велика, чем отступничество ученого от Зенона к Эпикуру".

Зенон обвел всех взглядом: в нем не было ни дополнительной суровости, ни изменений в манере поведения, ни глубокого, звучного голоса, когда, обращаясь к ним, он сказал: "Если один, или несколько, или все мои ученики устали от добродетели, пусть уходят. Пусть не боятся ни упреков, ни увещаний: одни бесполезны для вас, другие недостойны меня. До того, кто вздыхает о наслаждении, никогда не дойдет голос мудрости и не коснется сила добродетели. В этом портике истина никогда не будет смягчена, чтобы завоевать больное ухо; и строгость добродетели никогда не будет завуалирована, чтобы завоевать слабое сердце. Тот, кто повинуется поступкам, а не мыслям, кто дисциплинирует свое тело, а не разум, кто ногами стоит в Портике, а сердцем - в Садах, имеет не больше общего с Зеноном, чем негодяй, утопающий во всей женственности медянки или грубом разврате скифа. В добродетели нет середины; для души нет другого пристанища, кроме совершенства. Вы должны быть всем, или вы можете быть никем. Вы должны решиться идти до конца, или я призываю вас не начинать. Я говорю вам, всем и каждому: дайте мне ваши уши, ваши понимания, ваши души и ваши силы, или *уходите!*" Он снова обвел взглядом своих учеников. Наступило долгое и глубокое молчание, когда юный Теон, преодолевая благоговение и робость, вышел в центр и, прося руки, обратился к собранию.

"Хотя я должен лишиться уважения Зенона и любви его учеников, у меня нет иного выбора, кроме как говорить. Честь и справедливость требуют от меня этого: во-первых, чтобы отвести подозрения от этого собрания; во-вторых, чтобы оправдать характер мудреца, которого язык лжеца оклеветал; и, наконец, чтобы примирить мое собственное уважение, которое я ценю выше, чем даже уважение почитаемого Зенона и моего любимого Клеанфа". Он сделал паузу и, обратившись к Зенону, сказал: "С позволения господина, я хотел бы говорить".

"Говори, сын мой: мы присутствуем". Зенон удалился среди своих учеников, а Клеанф, тревожась и переживая за своего друга, расположился за ширмой у колонны. С изменившимися щеками и дрожащим голосом юноша начал

"Обращаясь к собранию, привыкшему к мужественной речи Зенона и пылкому красноречию Клеанфа, я знаю, что мои товарищи и, надеюсь, даже мой суровый учитель простят мне румянец и нерешительность, вызванные робостью и неопытностью. Я впервые открываю рот на публике; и что это за публика? Поэтому пусть не считают мое замешательство виной, но, как это и есть на самом деле, робкой неопытностью. Во-первых, чтобы отвести подозрения от этого собрания: пусть ученые не смотрят с сомнением друг на друга; пусть мастер не смотрит с сомнением на своих учеников. Я тот, кто общался с сыном Неоклеса; я тот, кто входил в сады наслаждений; я тот, на кого Клеанф указал как на отступника от Зенона к Эпикуру". Среди ученых поднялась суматоха. Удивление, негодование, презрение - все это выглядело на их лицах и срывалось с их языков.

"Молчать!" - вскричал Зенон, обводя всех суровым взглядом. "Молодой человек, продолжайте".

Этот возглас слушателей скорее взбудрил, чем ошеломил юношу. Он свободно вскинул руку, глаза его загорелись огнем, а с губ сорвались готовые слова: "Я не заслуживаю ни шипения презрения, ни вспышки негодования. Отстаньте, братья мои, пока не будет рассказана моя бесхитростная история, пока вы не услышите не извинения, а оправдания. Вчера, в этот час, я вышел из портика, разгоряченный до ярости филиппикой Тимократа против Эпикура и его учеников; возмущенный городом, который не изгнал такого учителя из своих стен; богами, которые не обрушили на него свои громы. Выдав таким образом свои чувства в солилоквиях, после долгого блуждания я расположился на берегу Кефиса и был пробужден от задумчивости приближением незнакомца: в его облике была мудрость мудреца и благосклонность божества. Я отдал ему дань юношеского уважения и восхищения: он соблаговолил обратиться ко мне. Он давал мне наставления о добродетели мягким и благородным языком доброты и убеждения. Я слушал, восхищался и любил. Мы закончили нашу прогулку только на закате: он пригласил меня к себе на ужин. Я вошел в его дом, и он сказал мне, что я видел Эпикура. Мог ли я отступить? *Должна ли* я была отступить? Нет: мое сердце отвечает: нет. Ваше счастье, друзья мои! Не перебивайте меня! Не называйте меня отступником! Перед лицом богов, перед моим господином, которого я боюсь не меньше, чем их, перед собственной совестью, которую я боюсь больше, чем их обоих, я клянусь, что я не таков! Я не собираюсь объяснять или оправдывать философию Эпикура: я почти ничего о ней не знаю. Я только знаю, я только утверждаю, что его язык придал новую теплоту моей любви к добродетели и новую силу моему стремлению к ней: я только утверждаю, что убежденность, простая, неприукрашенная убежденность - в его устах; доброжелательность - в его облике; урбанистичность - в его манерах: щедрость, истина и откровенность в его чувствах; я утверждаю, что порядок, невинность и довольство царят в его залах и садах; мир и братская любовь - среди его учеников; и что среди всего этого он сам является философом, родителем и другом. Я вижу презрительную усмешку на ваших устах, братья мои; увы, даже на невозмутимом лице моего господина я читаю неудовольствие".

"Нет, сын мой, - сказал Зенон, - это не так. Продолжай свой бесхитростный рассказ. Если в нем есть ошибка, то она лежит на обманщике, а не на обманутом. А вы, мои сыновья и ученики, изгоните с ваших лиц и грудей всякое выражение и всякую мысль, недостойные вашего честного товарища и вашей праведной секты. Ибо помните, если отвращение к лжи и пороку благородно, то недоверие к истине и невинности подло. Сын мой, продолжай".

"Спасибо за ваше благородное доверие, мой господин: оно заставляет меня гордиться, ибо я его заслужил. Да! Даже если я, как вы полагаете, буду обманут, я чувствую, что это открытое признание моего нынешнего совершенного убеждения достойно и меня, и Зенона. Оно доказывает, что в его школе я научился откровенности, хотя мне еще предстоит научиться пронизательности. И все же, как бы ни была несовершенна моя юношеская пронизательность, сейчас она не ошибается. Если я когда-либо видел простую, неприкрашенную доброту; если я когда-либо слышал простую, неприкрашенную истину, то это - от Эпикура. И снова ваше терпение, друзья мои! И снова ваше терпение, мой господин! Я не хочу быть учеником Садов: добродетель может быть в них - простите меня, добродетель есть в них, но в Портике есть добродетель, которой я буду поклоняться до последнего часа. Здесь, здесь я впервые узнал, здесь я впервые увидел, на какую славную высоту величия может подняться смертный, как независим он может быть от судьбы, как торжествует над ней! Молодой, невинный и неопытный, я приехал в Афины в поисках мудрости и добродетели. "Посети все школы и остановись на той, которая даст тебе самые благородные

цели", - сказал мой отец, давая мне напутственное благословение. Будучи академиком, я, конечно, в какой-то мере проникся принципами Платона и проникся любовью к его школе: Поэтому, впервые услышав Кратеса, я счел себя удовлетворенным. Случайно я познакомился с молодым пифагорейцем: Я слушал его простые наставления; я любил его добродетели и почти впал в его суеверия". От них меня пробудил Теофраст; и я уже почти окончательно стал перипатетиком, когда встретил красноречивого, восторженного Клеанфа. Он привел меня в Портик, где я нашел все добродетели всех школ объединенными и увенчанными совершенством. Но, отдав предпочтение Зенону, я не презирал своих прежних учителей. Я по-прежнему иногда посещаю Ликей и Академию, и по-прежнему молодой пифагореец - мой друг. Чистый разум, как мне кажется, должен уважать добродетель, где бы она ни обнаруживалась: и если уж в Ликее и Академии, то почему бы не в Садах? Зенон, уча аскетизму, не учит нетерпимости; тем более, я уверен, он не учит неблагодарности: и если я не испытывал к Гаргетскому мудрецу ни уважения, ни любви, я был самой неблагодарной душой в Афинах; а если, чувствуя и то и другое, я боялся признать и то и другое, я был самым подлым. А теперь, братья мои, спросите себя, как бы вы отнеслись к юноше, который за свои пороки, будучи изгнан из этого портика, побежал в Ликей и обвинил перед сыновьями Аристотеля нашего великого Зенона в чувственности и нечестии, которые привели здесь к его собственному позору и изгнанию? Разве вы не возненавидите такого негодяя? Разве вы не возненавидите его? Разве вы не проклянете его? Братья мои! Сегодня я узнал, что таким негодяем был Тимократ. Он здесь? Надеюсь, что да: Надеюсь, он слышит, как я обличаю его как клеветника и неблагодарного".

"Это ложь!" - вскричал Тимократ, вырываясь в ярости из толпы. "Это ложь! Я клянусь".

"Остерегайтесь лжесвидетельства!" - произнес чистый серебряный голос из глубины круга. "Расступитесь, афиняне! Я должен ответить на этот спор".

Толпа разделилась. Все взгляды обратились к проему. Теон торжествующе вскрикнул, Тимократ замер в ужасе - они узнали голос и фигуру сына Неоклеса.

ГЛАВА VII.

Мудрец подошел к Теону, положил руку ему на плечи и поцеловал его пылающий лоб. "Спасибо моему великодушному защитнику. Твой бесхитростный рассказ, сын мой, если и не достиг слуха Зенона, то покорило сердце Эпикура. О, сохрани эту откровенность и невинность!" Он обратил свое благодушное лицо к кругу: "Афиняне! Я - Эпикур". Это имя, столь презираемое и порицаемое, не вызвало ли оно волнения в собрании? Нет; каждый язык был скован, каждый вздох замирал, каждый взгляд был прикован к удивлению и восхищению. Теон сказал правду: это был облик мудреца и божества. Лицо было безмятежным зеркалом безмятежного ума: его выражение говорило как музыка для души. Лицо Зенона не было более спокойным и невозмутимым; но здесь не было ни суровости, ни властности, ни сдержанности, ни неприступного величия, ни отталкивающего превосходства: все было благосклонно, мягко, открыто и успокаивающе ободряюще. Видеть - значит любить; слышать - значит доверять. Тимократ сжался от глаз своего господина: они упали на него с неподвижным и глубоким взглядом, который поразил его виновную душу сильнее, чем вспышка Клеанфа или взгляд Зенона. Несчастный поник под его взглядом: он

дрожал; он скрючился; он смотрел так, будто хотел просить о пощаде; но язык его прилип к нёбу, и стыд не позволил ему упасть на колени. "Иди! Я пощажу тебя. Дайте дорогу, афиняне!" Ученые открыли проход: Мудрец снова взмахнул рукой, и преступник скрылся.

"Прости, Зенон, - сказал Гаргеттиан, - я знаю этого юношу: он недостойн стоять в портике".

"Я благодарю тебя, - ответил Мастер, - и мои ученики благодарят тебя. Боги не допускают, чтобы мы питали порок или не доверяли добродетели. Я вижу и отказываюсь от своей ошибки: отныне, если я не могу уважать учителя, я буду уважать человека".

"Я уважаю обоих", - сказал Эпикур, прислоняясь головой к стоику. "Я давно знаю Зенона и восхищаюсь им: Я часто смешивался с толпой в его Портике и чувствовал мощь его красноречия. Я не жду от него такой же отдачи и не хочу переманивать его ученых в свои сады. Мне известна суровость их хозяина и строгость, можно сказать, нетерпимость его правил. Но для одного, - и он положил руку на голову Теона, - для этого одного я хотел бы просить о милосердии. Пусть не вменяют ему в преступление то, что было делом случая и Эпикура: и позвольте мне сказать за него, как и за себя, - он не утратил в Садах ни одной добродетели, если не считать нескольких предрассудков".

"Сын Неоклеса, - сказал Зенон, - я боялся тебя вчера, но сегодня боюсь тебя вдвойне. Твои доктрины сами по себе заманчивы, но, исходя из таких уст, боюсь, они неотразимы. Кажется, я бросил пророческий взгляд на карту будущего и увидел мудреца Гаргета, стоящего на вершине славы, и весь мир у его ног. Мир готов к этому: Македонский, когда он вел наши легионы на завоевание Персии, нанес смертельный удар по Греции. Персидская роскошь и персидская распущенность, которые до этого крались, теперь набросились на нас. Наша молодежь, укутанная в потворство, с большими ушами отворачивается от суровых нравов Зенона и жадно всасывает в себя благородную философию Эпикура. Вы скажете мне, что тоже учите добродетели. Возможно, так оно и есть. Я этого не вижу, но это может быть так. Я не представляю, как могут существовать две добродетели, как не представляю и двух дорог к одной и той же. Однако с этим я не буду спорить. Я соглашусь, что в вашей системе, проясненной вашей практикой, есть чем восхищаться и что любить; но когда ваша практика умрет, и выживет только ваша система, где тогда будет гарантия ее невинности; где противоядие от ее яда? Не думайте, что люди будут принимать добро и не принимать зло; скоро они будут принимать зло и оставлять добро. Они сделают больше; они извратят саму природу добра и сделают из целого зло без примеси. Вскоре в укрытии ваших чащоб найдет приют все порочное. Под именем легкости сюда проникнет женственность; чувственность и разврат займут место невинности и утонченности; удовольствия тела вместо удовольствий разума. Каковы бы ни были ваши добродетели, они - лишь добродетели темперамента, а не дисциплины; и те из ваших последователей, которые будут похожи на вас по темпераменту, могут быть похожи на вас на деле: но пусть у них будут кипящие страсти и острые аппетиты, и ваши доктрины не поставят ограду против течения; не прозвучит тревога для преступника. Не говорите нам, что правильным является то, что допускает дурное построение, что добродетелью является то, что оставляет открытыми ворота для порока. Я сказал, что пророческим оком вижу твою будущую славу; но такая слава, какую я предвижу, не может удовлетворить честолюбие мудреца. Твои сады будут переполнены, но они будут опозорены; твое имя будет в каждом рту, но каждый рот будет недостойн его произносить; народы будут иметь тебя в почете, но прежде чем это произойдет, они будут разрушены: наша выродившаяся страна будет поклоняться тебе и умрет у твоих ног. Зенон, между тем, может быть предан забвению, но он никогда не будет оклеветан; Портик может быть оставлен, но никогда не будет опозорен; его доктрины могут быть отброшены, но никогда не будут истолкованы превратно. Меня не обманывает моя нынешняя популярность. Ни одна

школа сейчас не пользуется такой репутацией, как моя; но я знаю, что это ненадолго. Железный и золотой века прошли, молодость и мужественность ушли, и немощь старости настигает мир. Но, о сын Неоклеса, в этой мрачной перспективе меня ждет гордое утешение: Я воздвиг последний оплот для слабеющей добродетели людей и уходящей славы народов: я сделал больше: Когда добродетель и слава народов погибнут и когда в их развращенных поколениях некоторые одинокие души, рожденные для лучшего, увидят и оплачут окружающие их пороки, здесь, в заброшенном Портике, они найдут убежище; здесь, закрыв глаза на мир, они научатся быть миром для самих себя; здесь, закаленные в стойкости, они с высоким, непоколебимым величием будут взирать на рабов и тиранов земли. Эпикур! Когда ты сможешь сказать это о Садах, тогда, и не раньше, назови себя мудрецом и человеком добродетели". Он замолчал, но его полные тона, казалось, еще звучали в ушах слушателей. Наступила долгая пауза, когда Гаргеттиан нотами, подобными дышащим флейтам Аркадии, начал свой ответ.

"Зенон в своей нынешней речи во многом обосновал истинность своей системы ее целесообразностью: Поэтому я сделаю то же самое со своей. Дверь моих садов всегда открыта, и мои книги находятся в руках публики; поэтому вступать здесь в детали или изложение принципов моей философии было бы в равной степени неуместно и не по сезону. Не говори нам, что правильно то, что допускает дурное построение; что добродетелью является то, что оставляет открытыми ворота для порока". Это удар, который Зенон наносит Эпикуру; и если бы он попал, я бы сказал, что он был смертельным. По вкусу мы судим о плоде, по красоте и аромату - о цветке; и в системе морали, или философии, или чего бы то ни было еще, то, что стремится произвести добро, мы объявляем добром, то, что производит зло, мы объявляем злом. Я мог бы поддержать аргумент, что наше мнение относительно первых принципов морали не имеет никакого отношения к нашей практике; - что, опираюсь ли я в своей добродетели на благоразумие, или благопристойность, или справедливость, или благожелательность, или самолюбие, моя добродетель все равно одна и та же; - что спор идет не о цели, а о происхождении; что из всех тысяч, отдавших дань добродетели, едва ли кому-нибудь пришло в голову проверить пьедестал, на котором она стоит; что как мореплаватель руководствуется приливами и отливами, хотя и не знает их причин, так и человек подчиняется правилам добродетели, хотя и не знает принципов, на которых эти правила основаны; и что знание этих принципов повлияло бы на поведение человека не больше, чем знакомство с причинами приливов и отливов повлияло бы на поведение мореплователя. Но я не стану спорить, поскольку в этом случае может показаться, что я сражаюсь с вами на лету. Я отвечу на ваше возражение прямо в лицо. И я скажу, что если допустить, что самые сильные эффекты проистекают из первых оснований моральной системы - худшей или лучшей, - то моя, если о лучшей можно судить по тому добру, которое она делает, и злу, которое она предотвращает, должна быть причислена к лучшим. Если, как вы говорите, и я отчасти в это верю, железный и золотой век, молодость и мужественность мира прошли, и что немощь старости подкрадывается к нам, - то, как вы также говорите, наша молодежь, одетая на колени снисходительности, отвернется с большими ушами от суровой морали Зенона; И тогда я скажу, что в Садах, и только в Садах, они найдут пищу, невинную, но приспособленную к их больным вкусам; броню, не железную, а шелковистую, которая будет противостоять прогрессу их вырождения или даже набросит красоту на их гибель. Но, возможно, хотя Зенон и признает этот последний эффект моей философии вероятным, он не одобрит его: его суровый взгляд смотрит с презрением, а не с жалостью на глупости и пороки мира. Он уничтожил бы их, заменил бы их противоположными добродетелями или оставил бы их в полном и естественном объеме. Будьте совершенны или будьте такими, какие вы есть. Я не допускаю никаких степеней добродетели, поэтому не забочусь о степенях порока. Твоя гибель, если она должна быть, пусть будет во всех своих

ужасах, во всей своей мерзости: пусть она не вызывает ни жалости, ни сочувствия: пусть она будет видна во всем своем голом уродстве и возбуждает всю меру заслуженного отвращения и омерзения". Так говорит возвышенный Зенон, который видит человека только таким, каким он должен быть. Так говорит мягкий Эпикур, который видит человека таким, какой он есть: Со всеми его слабостями, со всеми его заблуждениями, со всеми его грехами, но при этом сохраняя с ним единство, радуясь его благополучию и вздыхая о его несчастьях: Я взываю из моего Сада к бездумным, упрямым, и праздным: "Где вы блуждаете и чего ищете? Разве это удовольствие? Найдите его здесь. Легко ли вам? Войдите и отдохните". Так я призываю их от стола пьянства и ложа разврата: Я мягко пробуждаю их спящие способности и снимаю покров с их понимания. "Сыны мои! Вы ищете наслаждения? Я тоже ищу ее. Давайте искать вместе. Вы пробовали вино, вы пробовали любовь; вы искали развлечений в веселье и забвения в праздности. Вы говорите мне, что разочарованы: ваши страсти росли, даже когда вы их удовлетворяли; ваша усталость росла, даже когда вы спали. Давайте попробуем еще раз. Давайте утихомирим наши страсти, не удовлетворяя, а подчиняя их; давайте победим нашу усталость, не отдыхая, а напрягаясь". Так я завоевываю их слух и доверие. Шаг за шагом я веду их вперед. Я открываю тайны науки; я показываю красоты искусства; я призываю на помощь грации и музыки; песню, лиру и танец. На трапезе царит воздержание, на празднике - невинность, отвращение сменяется удовлетворением, вялость - любопытством, жестокость - изяществом, похоть сменяется любовью, вакхическое веселье - дружбой. Не говори мне, Зенон, что порочен тот учитель, который смывает разврат с юношеского сердца; который утишает бурю страстей и обращает все его чувства к добру. Признаюсь, я не стремлюсь сделать людей счастливыми. Я хочу научить их, что в исполнении их обязанностей как сыновей, как мужей, как отцов, как граждан заключается их удовольствие и их интерес; и когда возвышенные побуждения Зенона перестанут воздействовать на изнеженное поколение, нежные убеждения Эпикура все еще будут услышаны и послушны. Но вы предупреждаете меня, что я буду оклеветан, мои доктрины будут неверно истолкованы, а моя школа и мое имя опозорены. Я не сомневаюсь в этом. Какой учитель защищен от недоброжелательности, какая система - от неправильного толкования? И неужели Зенон действительно считает себя и свои доктрины в безопасности? Он не знает, что такое человеческое невежество и человеческая глупость. Через несколько поколений, когда приятные добродетели Эпикура и возвышенные достоинства Зенона перестанут быть достоянием памяти или традиции, яростные или честолюбивые фанатики какой-нибудь новой секты могут в равной степени оклеветать обоих; объявить одного распутником, а другого лицемером. Но я допускаю, что я более открыт для клеветы, чем Зенон: в то время как ваша школа будет оставлена, моя, скорее всего, будет опозорена. Но эти два следствия будут вызваны одной и той же причиной. В равной степени вырождение человека вызовет отказ от ваших доктрин и извращение моих. Почему же тогда перспектива будущего должна беспокоить Эпикура больше, чем Зенона? Вина лежит не на мне, а на пороках моих последователей и невежестве моих судей. Я следую своим путем, руководствуясь тем, что считаю мудростью; в сердце моем - благо человека, я приспособляю свои советы к его положению, его склонностям и способностям. Мои усилия могут быть безуспешными, мои намерения могут быть опорочены; но как я знаю, что они благодетельны, так я и буду продолжать их, не ожесточенный и не поколебленный упреками, не остуженный случайной неблагодарностью и частыми разочарованиями". Он замолчал и, снова положив руку на плечо Теона, подвел его к своему Учителю. "Я не прошу Зенона восхищаться мной как учителем, но пусть он не винит этого ученого за то, что он любит меня как человека".

"Я не буду его винить, - сказал стоик, - но я желаю, чтобы он не скоро перестал мне доверять. Я хочу, чтобы он не забывал Зенона и не оставлял Портика".

На город опустились вечерние тени, и собрание разошлось.

ГЛАВА VIII.

Солнце было в самом разгаре, когда Теон вышел из одной из общественных бань. Он не был расположен к отдыху, но жара на улицах была невыносимой. "Пойду-ка я в Сады, - подумал он, - и понежусь в их прохладной тени, пока ко мне не присоединится Хозяин". Достигнув дома Гаргета, через который вход в Сады был короче, чем через общественные ворота, он вошел в него и направился к проходу, который проделал раньше. Однако он свернул не туда и, поблуждав некоторое время, открыл дверь и оказался в библиотеке. Эпикур сидел в глубоком раздумье, держа перед собой скрижали; в одной руке он держал перо, другой подпирал лоб. Метродор в противоположном конце комнаты занимался переписыванием.

Теон остановился и, коротко извинившись, поспешно удалился. "Останься!" крикнул Мастер. Теон снова вошел, но не продвинулся дальше порога.

"Когда я просил тебя остаться, я не хотел назначать тебя привратником. Входи и закрой за собой дверь". Теон с радостью повиновался и поспешил схватить протянутую руку мудреца. "Раз уж ты вторгся в святилище, я не стану тебя выгонять". Он пригласил юношу занять место на своем диване. "А теперь, что приятного я скажу тебе за твою вчерашнюю защиту нечестивца Гаргетана? Тебе следовало бы пойти со мной домой вчера вечером, когда мы оба были разгорячены боем, и тогда я мог бы сделать тебе красноречивый комплимент при полном собрании на симпозиуме, а ты бы так же красноречиво отрекся от него с одним из своих скромных румян".

"Тогда, поистине, если у магистра было такое намерение, я очень рад, что не последовал за ним. Но вечер я провел в своем доме, с моим другом Клеанфом".

"Пытался склонить его к доброму настроению и милосердию, не так ли?"

"Что-то в этом роде".

"И вам это удалось?"

"Не знаю, но он ушел от меня не в худшем настроении, чем пришел".

"Нет, тогда, должно быть, в лучшем. Объяснение всегда приближает или увеличивает разногласия между друзьями".

"Да, но мы также вступили в спор".

"Опасная почва, конечно. И ваш поединок, разумеется, закончился вничью?"

"Вы делаете мне более чем заслуженный комплимент, заключая, что это само собой разумеется".

"Нет, прошу прощения! Я делаю вам любой комплимент. Дело не в том, что я считаю равными вашу риторику и вашу логику, а в вашем упрямстве и вашем тщеславии".

"Знаете, я не считаю себя ни упрямым, ни тщеславным", - улыбнулся Теон.

"Если бы я полагал, что вы так считаете, я бы не счел нужным сообщать вам эту информацию".

"Но на каком основании вы считаете меня упрямым и тщеславным?"

"Твои годы; твои годы. А как вы думаете, есть ли человек моложе двадцати лет, который не является ни тем, ни другим?"

"Я думаю, что старик, по крайней мере, более упрям, чем молодой".

"Согласен, когда он упрям, что бывает довольно часто, но не всегда; и когда он тщеславен, то же самое. Но в то время как многие старики обладают тщеславием и упрямством в высшей степени, все молодые люди обладают этими качествами в положительной степени. Я считаю, что ваша доля довольно умеренна, но не думайте, что у вас ее совсем нет. Ну, а теперь скажите мне, не было ли это затяжное сражение?"

"Признаюсь, было. По крайней мере, ни один из нас не убедил другого".

"Сын мой, если бы вы это сделали, то к семи чудесам прибавилось бы еще одно. Я склонен сомневаться, что два человека в течение олимпиады вступают в спор из честного и единственного желания прийти к истине, или что в течение столетия один человек выходит из спора убежденным своим противником".

"Ну что ж, если вы не признаете за мной заслуг в том, что я не был убежден, то, по крайней мере, можете признать, что я не замолчал, я, столь молодой спорщик, и Клеанф, столь опытный!"

"Вчера в портике вы заранее растопили лед", - сказал Философ, потрепав его по плечу.

"После этого великодушного проявления доверия я не удивлюсь, если вы теперь найдете язык на все случаи жизни. И поверьте, растопить лед - дело очень важное. Многие ораторы, набравшись смелости сделать первый взмах, опускались на землю лишь одной пружиной. Сам Клеанф обнаружил это. Вы знаете его историю? Сначала он появился в Афинах как борец, чуждый философии и всевозможной учености. Однако на наших улицах шум от этого не мог не дойти до него. Он на полной скорости вбежал в школу Кратеса. Его любопытство, соединенное с его полным невежеством, придало ему столь необычный вид и вызвало у него столько простых вопросов и невразумительных ответов, что он получил от своих товарищей прозвище Осел. Но Осел упорствовал, и вскоре, войдя в Портик, он с таким усердием принялся за раскрытие тайн философии Зенона, что быстро завоевал уважение своего Учителя и своих товарищей. Но некоторое время его робость была крайней, и, вероятно, ничто, кроме внезапного волнения, не могло бы позволить ему преодолеть ее. Это, однако, произошло случайно, и теперь он - готовый и сильный оратор, каким вы его знаете".

"Я часто слышал, - сказал Теон, - и действительно не без некоторого скептицизма, о переменах, которые за несколько лет произошли в Клеанфе; *мужественный борец!* кто бы мог поверить? и тупой, невежественный варвар!"

"Мир всегда добавляет чудеса к чудесам. *Мускулистым* борцом он никогда не был, хотя, конечно, был более крепким и квадратным, чем сейчас; и хотя он был невежественным, он не был тупым. Усиленные занятия, а некоторые говорят, что пост бедности, как и воздержание, быстро уменьшили его тело и одухотворили ум."

"Нищенский пост!" - воскликнул Теон, - "вы верите в это?"

"Боюсь, что это возможно", - ответил Мастер. "По крайней мере, утверждается, что у него было всего четыре драхмы, когда он оставил школу борьбы ради философской; и не похоже, чтобы он теперь занимался каким-либо другим ремеслом, кроме ученого, которое, конечно, приносит очень мало питания телу, что бы оно ни делало с умом".

"Но его учитель; как вы думаете, Зенон не допустил бы, чтобы он нуждался в самом необходимом для жизни?"

"На самом деле самое необходимое, так или иначе, у него, конечно, есть; но я могу поверить, что он сделает очень мало подаяний, а эти немногие достанет с некоторым трудом, чем окажется в долгу даже перед своим господином".

"Или своему другу!" - сказал Теон.

"Не забывай, что ты не такой уж давний друг, да и младше его по годам".

"Но разве это помешает ему оказать мне доверие по такому случаю?"

"Возможно, и нет, но позвольте стоической гордости кое-что".

"Здесь я ничего не могу допустить".

"Нет, потому что она затрагивает вашу собственную. *"Так я попираю гордость Платона"*, - сказал Диоген, поставив ногу на мантию Академика. *Да, с еще большей гордостью Диогена*, - ответил Платон. Но я сделал тебя серьезным, что не входило в мои намерения". Метродор, как дела?"

"Пишу последнее слово... Вот! А теперь, - встает и направляется к Теону, - позвольте мне обнять юношу, который так благородно взялся защищать моего оскорбленного господина. Возможно, вы не знаете, чем я обязан вам. Тимократ - брат Метродора".

"Как!"

"Я краснею, признавая это".

"Тебе не нужно краснеть, мой любимый сын; ты выполнил больше, чем долг брата по отношению к нему, и больше, чем долг ученика по отношению ко мне. Полагаю, - обратился он к Теону, - поскольку ты стоик, ты не читал искусных трактатов Метродора в поддержку моих доктрин и в защиту моего характера. В последнем случае он сделал больше, чем я хотел".

"Я, конечно, не читал, но я прочту их".

"Что? Перед лицом Зенона?"

"Да, и всего Портика".

"Мы не должны сомневаться в мужестве молодого коринфянина, - сказал Метродор, - после его вчерашней благородной уверенности".

"Я вижу, что учитель не молчит, - ответил Теон, - и что он воздал мне больше похвал, чем положено".

"Метродор может сказать тебе, что это не в моем обычае, - ответил Гаргеттиан. "Клянусь Поллуксом! Если ты и дальше будешь посещать Сад, то рассчитывай, что с тобой будут обращаться очень грубо. Я наношу удары по каждому замеченному мною недостатку, а у

меня очень зоркий глаз. Я обнаруживаю самые тайные грехи, выворачиваю наизнанку души моих учеников; так что будьте вовремя предупреждены!"

"Я не боюсь вас", - ответил коринфянин.

"Не боишься меня, негодяй?"

"Нет, я слишком хорошо тебя люблю. Но, - продолжал Теон, - позвольте мне теперь поблагодарить магистра за то, что он так вовремя появился вчера и подарил мне победу. Как вы меня поразили! Я чуть было не принял вас во второй раз за божество".

"Я расскажу тебе, как это случилось, - ответил Эпикур, - вчера, когда ты вышел из дома, я случайно оказался на улице и увидел твою встречу с Клеанфом; догадавшись по его первому обращению, что тебе придется выдержать осаду, я последовал за тобой к портику и незаметно занял свое место среди толпы, готовый, если потребуется, оказать помощь".

"И вы слышали все, что происходило?"

"Да".

"Прошу простить меня за это отступление, - сказал Теон, - но мне кажется, что вы более терпеливы и откровенны, чем любой человек, о котором я когда-либо слышал".

"Если это так, то эти полезные качества не были достигнуты без долгих занятий и дисциплины; ибо Зенон ошибается, считая все мои добродетели детьми темперамента. Я очень рано понял, что откровенность - это качество, наиболее необходимое для философа, и поэтому очень рано направил все свои усилия на его достижение. И когда однажды я честно взялся за работу, она не показалась мне ни долгой, ни трудной. От природы я обладал мягким нравом и чутким сердцем, и эти дары здесь оказались мне невообразимо полезны. Чувствуя доброту к своим ближним, я легче научился жалеть, а не ненавидеть их недостатки, улыбаться, а не хмуриться на их глупости - это был уже большой шаг, но следующий был более трудным - не спешить с определением, что есть недостаток, а что - глупость. Наши суеверия будут преследовать фуриями человека, который возьмет в жены свою сестру, в то время как обычаи Египта будут его одобрять. Как смеялись над астрономом, который заставил землю вращаться вокруг неподвижного солнца; и все же, кто может сказать, но может наступить век, когда это будет установлено как истина? Предрассудки, когда они становятся предрассудками, легко отступают. Трудность заключается в том, чтобы прийти к их осознанию. Тысячу лекций я прочел себе, прежде чем смог спокойно сказать в любом случае: "Из того, что вещь есть, не следует, что она есть, потому что я *так думаю*"; и пока я не мог этого сказать, я не смел называть себя философом. Когда я приучил себя к откровенности, я обнаружил, что обладаю терпением; ибо, действительно, вряд ли возможно обладать одним из них без другого".

"Я не могу понять, - сказал Теон, - как при вашей мягкости, откровенности и хорошем настроении у вас так много врагов".

"Разве я не основатель новой секты?"

"Да, но так же поступали и многие другие".

"И вы думаете, что у меня больше врагов, чем у других? Если это так, то, возможно, в тех мирных качествах, которые вы перечислили, вы можете искать причину. Вспомните киников и стоиков (а я полагаю, что большинство моих врагов либо из их числа, либо из их породы), как вы думаете, какая-нибудь из этих трех неприятных добродетелей заслужит их

одобрение? Они не любят, когда человек занимает место философа, не прикрываясь им, а я, как вы понимаете, лишен их в полной мере. Кроме того, вы должны помнить о моей популярности; ведь, конечно, моя мягкость, прямота и хорошее настроение, наряду с другими приятными достоинствами, которые не будут названы, помогают мне обрести тысячу друзей; а у того, у кого много друзей, должно быть много врагов, ибо вы знаете, что он должен быть объектом зависти, ревности и злобы".

"Мне невыносимо думать, что так будет", - сказал Теон.

"А я тем более", - сказал Метродор.

"Сыновья мои, никогда не жалейте человека, который на каждого врага может найти больше, чем друга, а я верю, что могу это сделать! Да, мой юный стоик, у Зенона, возможно, меньше врагов и столько же учеников, но я сомневаюсь, что у него столько преданных детей, как у Эпикура".

"Я знаю, что нет", - вскричал Метродор, скривив губы в гордом презрении.

"Не стоит так свирепо смотреть на свои знания", - улыбнулся Учитель.

"Ты слишком мягок, слишком откровенен, - ответил ученый, - и это твой единственный недостаток".

"Тогда я самый безупречный человек, и мне хотелось бы вернуть комплимент Метродору, но он слишком сильно кривит губы, а щеки его слишком склонны разгораться".

"Я знаю это, я знаю это", - сказал ученый.

"Тогда почему бы не исправить это?"

"Потому что я совсем не уверен, что его лучше не чинить. Если бы ты более свирепо обрушился на своих врагов или позволил мне сделать это за тебя, они бы больше уважали тебя, ибо больше боялись бы тебя".

"Но поскольку я не бог, не царь и не солдат, я не имею права на страх; и поскольку я философ, я не желаю его. Тогда, что касается уважения, неужели ты считаешь себя более достойным его, чем твой господин?"

"Нет, - сказал Метродор, краснея, - это слишком суровое замечание".

"Согласись, что это было заслуженно. Нет, нет, сын мой, мы убедим всех, кого сможем, заставим замолчать как можно меньше, и никого не испугаем".

"Вспомни выход Тимократа, - сказал Теон, - разве не в ужасе он был сделан?"

"Да, но это было делом его совести, а не моих глаз; если бы первый раз он промолчал, то, думаю, и последний выдержал бы очень хорошо".

"Не называй этого негодяя", - возмущенно воскликнул Метродор. "О! Мой юный коринфянин, знаешь ли ты, сколько терпения и терпеливости проявил к нему его Учитель, сколько мучений он с ним перенес, с какой нежностью он его наставлял, с какой серьезностью предостерегал, сколько раз он его прощал; И вот, наконец, когда он осмелился оскорбить приемное дитя своего Учителя, прекрасную Хедею, и возмущенные ученики выдворили его из Сада, он идет к нашим врагам, врагам своего Учителя, и питает их злобу адской ложью. Проклятье фурий на этого негодяя!"

"Боже! Как ты смеешь?" - сказал Эпикур, с негодованием отталкивая от себя своего ученого. "Твой гнев недостойн человека, тем более брата! Иди и одумайся, сын мой!" - смягчил он голос, увидев слезы в глазах Метродора, - "Коринфянин проводит тебя в сад, а я присоединюсь к тебе, когда закончу этот трактат", - Метродор взял руку Теона, и они вышли из квартиры.

ГЛАВА IX.

"Не надо, - сказал Метродор Теону, - считать меня лучшим образцом учеников Эпикура. Не все мы такие горячие мозги и горячие языки".

"Нет!" - ответил его спутник, - "я слишком молод в философии, чтобы порицать твою горячность. На вашем месте я и сам был бы таким же горячим".

"Я рад это слышать. Вы мне нравитесь больше за эти чувства. Но солнце палит ужасно, давайте искать укрытие".

Они свернули в чащу и, пройдя некоторое расстояние, уловили в тихом воздухе нотки флейты. Продвинувшись вперед, они вышли на красивый берег, поросший зеленью, окаймленный рекой и затененный группой густых и широко раскинувшихся дубов. "Это Леонтий", - сказал Метродор. "Ни один другой в Аттике не может так сладко дышать флейтой". Они повернули один из стволов и увидели, что она лежит на дерне, прислонившись плечом к дереву и приподнявшись на одном локте. Рядом с ней сидела черноглазая девушка, которую Теон видел раньше; ее конические пальцы сплетали в венок душистые цветы, которые с легкостью бросал ей на колени Софрон, стоявший в отдалении среди кустарников.

"Довольно! Довольно!" - раздался нежный голос девушки, когда юноша осыпал ее листвой и нектарными запахами перезрелых цветов. "Хватит! Хватит! Останови свою руку, ты, беспечный опустошитель!"

"Спасибо тебе за твои слова, хоть они и укоряют меня", - сказал мальчик, отпуская ветку, за которую только что ухватился, с легкостью, подобной той, с которой куст взвился вверх из его рук. "В твоей душе есть только одно чувство, Бойдион, и твоя натура не соответствует солнечному климату, в котором она родилась. Дружба для тебя - все, и эта дружба - только для одного".

"По правде говоря, ты холодно отвечаешь на его заботы", - сказал Леонтий, вынимая трубку изо рта и улыбаясь темноволосой деве.

"Но я не оплачу тебе холодностью", - сказала Боедион, целуя руку подруги.

"Я хорошо наказан за то, что пропустил утреннюю лекцию", - нетерпеливо сказал Софрон, поднял с земли свою книгу и отвернулся.

"Расстанься не в гневе, брат!" - воскликнул Бойдион. Но юноша уже исчез, а вместо него перед ней стояли Метродор и Теон.

Испуганная девушка уже собиралась подняться, как вдруг Леонтий положил руку ей на плечо: "Отдохни, робкий олененок", и дева села на свое место.

"Я радуюсь, - сказал Теон, садясь вместе с Метродором рядом с Леонтией и беря в руки трубку, выпавшую из ее рук, - я радуюсь тому, что этот маленький инструмент возвращен Афинам".

"Скажем, не возвращен в Афины, - ответил Леонтий, - а только допущен в Сад. Я сомневаюсь, что наша тщеславная молодежь еще помнит проклятие Алкивиада и, глядя в свое зеркало, клянется, что никто, кроме глупцов, не будет играть на нем".

"Это напомнило мне, - сказал Теон, - что среди различных сообщений о Саде, звучащих из уст афинян, я слышал весьма противоречивые о том, какое место отводится в нем наукам и свободным искусствам, и в частности музыке".

"Полагаю, - сказал Метродор, - ты слышал, что все наше занятие - есть, пить и буйствовать в полном разврате".

"Верно, слышал; и, боюсь признаться, наполовину верил в это. Но я также слышал, как вашу разнузданность описывали по-разному; иногда как грубую чувственность, не украшенную никакими изяществами искусства; завуалированную, украшенную, если можно так выразиться, никакой утонченностью. Короче говоря, Эпикур смеялся как над изящными искусствами, так и над серьезными науками. От других я узнал, что музыка, танцы, поэзия и живопись были поставлены на службу его философии; что Леонтий играл на лире, Метродор - на арфе, Гедея двигалась в танце, Боидион возносил песни Венере; что его залы были увешаны сладострастными картинами, а дорожки его садов - непристойными статуями".

"И теперь ты можешь убедиться в этом, - ответил Метродор, - своими глазами и ушами".

"Но, - сказал Леонтий, - молодому коринфянину, возможно, будет интересно узнать о настроениях нашего учителя и его советах относительно изучения наук и свободных искусств. Я легко могу понять, - обратилась она к Теону, - происхождение двух противоречивых сообщений, которые ты только что упомянул. Первое вы услышите от последователей Аристиппа, которые, хотя и не признают его имени, следуют *догматам* его философии и уже давно весьма многочисленны в нашем вырождающемся городе. Они, поскольку Эпикур рекомендует лишь умеренную культуру тех искусств, которые слишком часто становятся изящными стимулами для развратных удовольствий, обвиняют его в полном пренебрежении ими. Киники и другие аскетичные секты, осуждающие все, что служит роскоши, легкости или отдыху человека, преувеличивают его умеренное использование этих искусств, превращая его в порочное поощрение сладострастия и женолюбия. Вы поймете, что между этими двумя мнениями лежит истина. В Саду разрешены все невинные виды отдыха. Эпикур осуждает не поэзию, а развратную поэзию; не музыку, а сладострастную музыку; не живопись, а развратные картины; не танцы, а развязную жестикуляцию. При этом он недоволен как распутниками, так и аскетами: для них он слишком умерен, а для них слишком суров. Что касается наук, то если скажут, что ими у нас пренебрегают, то я не скажу, что наш Учитель, хотя и сам сведущ в них, как и во всех других отраслях знания, очень рекомендует их к изучению. Но о том, что они не неизвестны, пусть свидетельствует Полиэн. Вы, должно быть, слышали, как о нем, одном из самых приятных людей нашей школы и наиболее благосклонном к нашему Учителю, во всей Греции говорили как о глубоком геометре".

"Да, - ответил Теон, - но я также слышал, что с тех пор, как он попал в Сад, он перестал уважать свою науку".

"Мне это неизвестно, - сказал Леонтий, - хотя я полагаю, что он больше не посвящает ей все свое время и все свои способности. Эпикур призвал его из своих диаграмм, чтобы открыть ему тайны физики и красоты этики, показать ему источники человеческих действий и привести его к изучению человеческого разума. Он учил его, что любое отдельное занятие, каким бы полезным и благородным оно ни было, все же недостойно полного использования любознательного и сильного интеллекта: что человек, который преследует одну линию знаний, исключая другие, хотя он должен следовать ей до самого ее основания, никогда не будет ни ученым, ни мудрым: Что тот, кто стремится к знаниям, не должен считать ни одну их отрасль недостойной внимания; менее всего он должен ограничивать их теми, которые не связаны с делом и ничего не добавляют к удовольствиям жизни: которые не углубляют наше знакомство с самим собой и с нашими товарищами; которые не имеют тенденции расширить сферу наших привязанностей, умножить наши идеи и ощущения и расширить сферу наших запросов. На этом основании он порицал преданность Полиэна науке, которая ведет к иным истинам, чем добродетель, к иному изучению человека".

"Я благодарен тебе за объяснение, - сказал Теон, - не потому, что я мог бы больше верить нелепым сообщениям врагов твоего господина, но потому, что все, что открывает мне характер и мнения такого человека, интересует и улучшает меня".

"Вы убедитесь в этом, - сказал Метродор, - чем больше вы будете их рассматривать. Жизнь Эпикура - это урок мудрости. Своих учеников он наставляет примером, даже больше, чем наставлениями. Не отдавая приказов, он правит деспотично. Его желания разгадываются и исполняются как законы; его мнения повторяются как оракулы; его доктрины принимаются как доказанные истины. В Саду царит единодушие. Мы - семья братьев, отцом которой является Эпикур. И я говорю это не в похвалу ученым, а в адрес Мастера. У многих из нас есть дурные привычки, у многих из нас есть дурные наклонности, у многих из нас есть бурные страсти. То, что наши привычки исправлены, наши склонности изменены, наши страсти обузданы, - все это принадлежит Эпикуру. Чем я сам обязан ему, никто, кроме меня, не знает. Легкомысленный приверженец развратных удовольствий, упрямая жертва своих страстей, он заставил меня вкусить сладости невинности и привел меня в спокойствие философии. Именно таким образом, делая нас счастливыми, он кладет нас к своим ногам, именно таким образом он завоевывает и удерживает империю наших умов, именно таким образом, доказывая, что он наш друг, он обеспечивает наше уважение, нашу покорность и нашу любовь. Он не может не знать о своей силе, но не использует ее иначе, чем для того, чтобы исправить наши жизни или сохранить их невинными. В споре, как вы могли заметить, он всегда стремится убедить, а не переубедить. Он свободен как от высокомерия, так и от двуличия; он не станет ни навязывать уму свое мнение, ни скрывать от него истину. Спросите его совета, и он всегда готов его дать, высказать свое мнение, и он четко его излагает. Сам свободный от предрассудков, он нежно относится к предрассудкам других; однако ни страх перед порицанием, ни желание популярности никогда не заставляют его юморить ни в своих уроках, ни в своих сочинениях. Кандор, как вы уже заметили, - выдающаяся черта его ума; это венец его совершенного характера... Я говорю это, мой юный коринфянин, кто знает его. Его душа, действительно, открыта для всех; но я подошел к ней очень близко и рассмотрел ее самые сокровенные уголки. Да, я с гордостью могу сказать это - я один из тех, кого он привлек в свою близость самым тесным образом. Со всеми моими недостатками и ошибками он принял меня как сына; и, уступая мне в годах, мудрости и добродетели, он соизволил назвать меня своим другом".

Слезы навернулись на глаза ученого; он, казалось, собирался продолжить, как вдруг легкий звук заставил всех повернуть головы, и они увидели Мастера рядом с собой: "Не вставайте, дети мои, я сам сяду среди вас". Теон понял, что услышал заключительную фразу Метродора: в его глазах заблестела вода, когда он с нежностью посмотрел на него. "Спасибо, сын мой, за эту дань твоей благодарности; я слышал твою хвалебную речь и с радостью принимаю ее. Пусть все люди, - и он перевел взгляд на Теона, - будут выше лести; но мудрец не должен быть выше похвалы. Тот, кто так поступает, либо высокомерен, либо неискренен. Что касается меня самого, то я признаю, что похвалы моих друзей наполняют меня триумфом, как и уверенность в их привязанности - удовлетворением. Одобрение близких, которые бывают с нами в наши тайные часы, слышат наши частные разговоры, знают привычки нашей жизни и склонности наших нравов, гораздо приятнее и торжественнее, чем крики толпы или поклонение всего мира".

Наступила пауза, длившаяся несколько минут, после чего Леонтий продолжил. "Я объяснил, хотя и очень кратко и неполно, твои взгляды на то, какими занятиями лучше всего заниматься людям. Я полагаю, что коринфянин испытывает некоторое любопытство по этому поводу".

Теон согласился.

"Знание, - сказал Мастер, - это лучшее богатство, которым может обладать человек. Без него он - скотина; с ним он - бог. Но, как и счастье, он часто ищет его, не находя, или, в лучшем случае, получает лишь несовершенный проблеск. Дело не в том, что дорога к нему темна или трудна, а в том, что он выбирает неверный путь; или, если он вступает на верный путь, то делает это неподготовленным к путешествию. Теперь он считает, что знание - одно с эрудицией, и, затворившись в своей камере, изучает все предания древности, постигает науки, накапливает в памяти все изречения мертвых, и, оценив ценность своих приобретений по количеству времени и труда, потраченных на них, убеждается, что достиг цели, и, уединившись, свысока смотрит на своих более невежественных, потому что менее образованных собратьев, называя их детьми и варварами. Но, увы! Учеба не есть мудрость, и книги не дадут понимания. Он снова выбирает более привлекательный путь: бросается в толпу, плывет по течению удовольствий, обхаживает дыхание популярности, разгадывает или плетет загадки интриг, потешается над страстями своих собратьев и поднимается на них к имени и власти. Затем, смеясь над легковерием, невежеством и пороком, на которых он поставил свой трон, он говорит, что знать мир - единственное знание, а видеть, как его обмануть, - значит быть мудрым. Однако знание мира не есть знание человека, и торжествовать над страстями других не значит торжествовать над своими собственными. Нет, сыновья мои, только те знания, которые являются настоящими, - те, которые делают нас лучшими и счастливыми людьми и помогают нам содействовать добродетели и счастью других. Всякое обучение полезно, все науки любопытны, все искусства прекрасны; но еще полезнее, еще любопытнее и еще прекраснее - совершенное знание и совершенное управление собой. Пусть человек читает небеса, разгадывает их законы и революции; пусть он погружается в тайны материи и объясняет явления земли и воздуха; пусть он знаком со всеми трудами, изречениями и деяниями мертвых; Пусть он держит в руках карандаш Паррасия, резец Поликлета или лиру Пиндара; пусть он делает одно или все это, но не знает тайных пружин своего ума, основ своих мнений, мотивов своих поступков; Если он не владеет своими страстями; если он не очистил свое понимание от тумана предрассудков; если он не вытравил из своих суждений всю нетерпимость; если он не умеет взвешивать свои собственные поступки и поступки других на весах справедливости - такой человек не обладает знанием; и, хотя он человек науки, человек образования или художник, он не

мудрец. Он должен терпеливо сидеть у ног философии. При всей своей образованности ему еще предстоит учиться, и, возможно, еще более трудная задача - разучиться".

Магистр сделал паузу, но ухо Теона все еще висело на его губах. "Не останавливайся, - воскликнул он. "Я мог бы слушать тебя вечность".

"Я не могу обещать, что буду говорить так долго", - улыбнулся мудрец. "Но если ты хочешь, мы продолжим тему, когда присоединимся к другим нашим друзьям".

Они поднялись и направились к выходу.

ГЛАВА X.

Эпикур стоял посреди своих ожидающих ученых. "Сыновья мои, - сказал он, - зачем вы входите в Сад? Ищете ли вы счастья или добродетели и знания? Приходите, и я покажу вам, что, найдя одно, вы найдете все три. Чтобы быть счастливым, мы должны быть добродетельными; а когда мы добродетельны, мы мудры. Итак, начнем: для начала на некоторое время утихомирим наши страсти, забудем наши предрассудки, отбросим тщеславие и гордыню. Терпеливо и скромно подойдем к ногам Философии; скажем ей: "Вот мы, ученые и дети, одаренные от природы способностями, привязанностями и страстями, - научи нас пользоваться ими и направлять их. Покажите нам, как обратить их на пользу, как сделать так, чтобы они способствовали нашему удобству и служили нашим наслаждениям".

"Сыны земли, - говорит Божество, - вы рассуждаете мудро; вы чувствуете, что природа одарила вас способностями, привязанностями и страстями, и понимаете, что от правильного их использования и направления зависит ваше благополучие. Так оно и есть. Ваши привязанности, как душевные, так и телесные, можно вкратце свести к двум: удовольствию и боли; одно доставляет неприятности, а другое - удовольствие. Поэтому естественно и уместно, чтобы вы избегали боли, желали и следовали за удовольствием. Итак, отправляйтесь в путь, но прежде чем начать его, убедитесь, что он идет по верному пути и что вы нацелены на истинный объект. Совершенное удовольствие, которое есть счастье, вы достигнете, когда приведете свои тела и души в состояние удовлетворенного спокойствия. Чтобы достичь этого, необходимо предварительное усилие, но усилие не жестокое, а постоянное и равномерное. Сначала тело, с его страстями и аппетитами, требует удовлетворения и потакания. Но берегитесь! Ведь здесь скрыты скалы, которые могут погубить вашу яхту во время плавания и навсегда отгородить вас от гавани отдыха. Поэтому найдите себе опытного лоцмана, который проведет вас через Сциллу и Харибду ваших плотских привязанностей и направит надежный штурвал в глубокие воды ваших страстей. Узрите ее! Это Благоразумие, мать добродетелей и служанка мудрости. Спросите, и она скажет вам, что удовлетворение даст новую остроту голоду ваших appetitов и что буря страстей разгорится от потворства. Спросите, и она скажет вам, что чувственное удовольствие - это боль, прикрытая маской счастья. Вот она срывает ее со своего лица и открывает черты болезни, беспокойства и раскаяния. Спросите, и она скажет вам, что счастье заключается не в беспорядке, а в спокойствии; и это спокойствие не праздности и бездействия, а здорового довольства души и тела. Спросите, и она скажет вам, что *счастливая жизнь не похожа ни на ревуший поток, ни на застойный бассейн, а на*

спокойный и кристальный ручей, который течет мягко и бесшумно. А теперь Благоразумие представит вам прекрасный шлейф добродетелей. Воздержание, набросив узду на ваши желания, постепенно усмирит и уничтожит те из них, потворство которым в настоящее время принесет только будущее зло; а другие, более необходимые и невинные, она все же доведет до такой умеренности, которая предотвратит всякое беспокойство души и вред тела. Стойкость укрепит вас, чтобы вы могли переносить те болезни, которые даже воздержанность не в состоянии предотвратить; те несчастья, которые судьба может наслать на вас; те гонения, которые может придумать глупость или злоба человека. Она поможет вам вынести все, победить страх и встретить смерть. Справедливость обеспечит вам безопасность среди ваших товарищей и удовлетворение в вашей собственной груди. Щедрость будет ласкать вас с другими, и услаждать вашу собственную природу для вас самих. Кротость уберет жало от злобы врагов, а из доброты друзей ты извлечешь двойную сладость. Благодарность облегчит бремя обязательств или сделает его даже приятным. Дружба увенчает вашу безопасность и радость. Этими и другими добродетелями окружит вас благоразумие. И, опираясь на них, уверенно держите курс и причаливайте к гавани покоя".

"Так говорит философия, сыновья мои, и не мудро ли она говорит? Скажите нам, вы, испробовавшие скользкие пути разнузданности, давшие волю страстям и искавшие удовольствия на лоне сладострастия; скажите нам, нашли ли вы ее там? Нет, не нашли, иначе вы не стали бы сейчас спрашивать о ней у Эпикура. Итак, философия указала вам путь. Отбросьте свои старые привычки, вымойте нечистоту из своих сердец; возьмите узду своих страстей; управляйте своими умами и будьте счастливы. И вы, сыновья мои, для которых все еще ново; чьи страсти, еще находящиеся в зародыше, никогда не приводили вас к боли и сожалениям; вы, которым еще только предстоит начать свою карьеру, - идите же! Философия укажет вам путь. Храните невинность ваших сердец, держите узду ваших страстей, управляйте вашими умами и будьте счастливы. Но, сыновья мои, я слышу, как вы говорите: "Вы показали нам добродетели скорее как модификаторы и корректоры зла, чем как дарители действительного и совершенного добра. Счастье, говорите вы, состоит в легкости тела и ума; но воздержание не может уберечь первое от болезней, как и все добродетели, объединенные в одно целое, не могут избавить второе от несчастий". Правда, дети мои, философия не может изменить законы природы; но она может научить нас приспособливаться к ним. Она не может отменить боль, но она может вооружить нас, чтобы мы могли ее переносить. И хотя зол в судьбе много, разве не больше зол в приходе человека? Природа поражает нас болезнями; но если один раз они вызваны природой, то девять раз они являются следствием нашей собственной глупости. Природа уравнивает нас со смертью; но как мягка смерть природы, когда философия расстилает подушку, а дружба делает последний вздох, к затычным агониям разврата, покоряющим тело по дюйму, в то время как философия не дает сил, а дружба не утешает, но пока пламя лихорадки подогревается нетерпением, а жало боли - угрызениями совести! И скажите мне, сыновья мои, когда тело мудреца распростерто на кушетке боли, разве нет у него разума, чтобы служить ему наслаждением? Разве не шепчет ему совесть, что в нынешнем зле он виноват не по собственной глупости, а по законам природы, которые никакие его усилия и предвидения не смогли бы предотвратить? Разве он не помнит о прошлых удовольствиях, об удовольствиях хорошо проведенной жизни, которыми он может питаться даже тогда, когда боль сковывает его члены, а лихорадка разъедает его жизненные силы? Или, если агония одолеет его и искалечит его способности, разве не будет под рукой смерть, чтобы дать ему избавление? Итак, смерть, этот гигант ужаса, выступает в роли друга. Но разве он не прерывает наши удовольствия, равно как и наши страдания? И разве за это мы его боимся? Не лучше ли нам радоваться, видя, что день жизни имеет свои светлые и свои омраченные

часы, что мы ложимся спать, пока солнце радости еще светит, пока буря судьбы не нарушила нашего спокойствия или вечер старости не омрачил наших перспектив? Смерть, таким образом, никогда не является нашим врагом. Когда она не друг, она не может быть хуже, чем безразличие. *Ибо пока мы есть, смерти нет; а пока смерть есть, нас нет.* Для мудрых смерть - ничто. Рассмотрите все беды жизни: не являются ли они нашим собственным творением, не принимают ли они мрачные оттенки от наших страстей или нашего невежества? Что такое бедность, если мы воздержанны и можем довольствоваться коркой и водой из источника, если мы скромны и можем носить шерстяную одежду с таким же удовольствием, как тирийский халат? Что такое клевета, если у нас нет тщеславия, которое она может ранить, и нет гнева, который она может разжечь? Что такое пренебрежение, если у нас нет честолубия, которое оно могло бы разочаровать, и гордости, которую оно могло бы умерить? Что такое гонения, если у нас есть собственное лоно, в котором мы можем уединиться, и участок земли, на котором мы можем присесть и отдохнуть? Что такое смерть, если без суеверий, наводящих на нас ужас, мы можем покрыть голову и уснуть в его объятиях? Какой список человеческих бедствий здесь исключен - нищета, клевета, пренебрежение, разочарование, гонения, смерть! Что же остается? Болезни? И это тоже, как мы показали, воздержанность может часто избегать, а философия - всегда облегчать. Но есть еще боль, которой не могут избежать самые мудрые и лучшие из людей, которую все мы, сыновья мои, чувствовали или должны чувствовать. Разве не шепчут об этом ваши сердца? Не говорите ли вы мне, что в смерти все же есть жало? Что, прежде чем нацелиться на нас, она может уничтожить возлюбленного нашей души? Отец, чья нежная забота взрастила наши младенческие умы, брат, которого питала одна и та же грудь и укрывала одна и та же крыша, с которым, бок о бок, мы росли, как два растения у реки, черпая жизнь из одного и того же источника и силу из одного и того же солнца, - ребенок, чья веселая болтовня радует наши уши или чье открывающееся понимание укрепляет наши надежды; друг, которого мы выбрали, с которым обменялись сердцами, разделили все наши боли и удовольствия, в чьих глазах отразилась слеза сочувствия, чья рука разгладила кушетку болезни. Ах! Сыновья мои, это действительно боль, боль, которая режет душу. Найдутся господа, которые скажут вам обратное, скажут, что недостойно человека оплакивать даже здесь. Но такие, сыновья мои, говорят не правду опыта или философии, а тонкости софистики и гордыни. Кто не чувствует потери, тот никогда не чувствовал обладания. Кто не знает горя, тот никогда не знал радости. Узнайте цену друга в тех обязанностях, которые мы ему оказываем, в тех жертвах, которые мы приносим ему, и которые, принося, мы считаем не жертвами, а удовольствиями! Мы скорбим о его горе; мы удовлетворяем его нужды, а если не можем, то разделяем их. Мы следуем за ним в изгнание. Мы закрываемся в его тюрьме; мы успокаиваем его в болезни; мы укрепляем его в смерти: более того, если это возможно, мы отдаем свою жизнь за его жизнь. О! Какое это сокровище, ради которого мы так много делаем! И разве нам запрещено оплакивать его потерю? Если да, то у нас нет сил повиноваться. Так должны ли мы, чтобы избежать зла, отказываться от добра? Должны ли мы закрыть любовь от наших сердец, чтобы не чувствовать боль от его ухода? Нет; счастье запрещает это. Опыт запрещает это. Пусть тот, кто положил на костер самое дорогое, что было в его душе, кто омыл урну самыми горькими слезами горя, - пусть скажет, возникало ли в его сердце желание, чтобы в нем никогда не было того, о ком он теперь сожалеет. Пусть скажет, не живет ли в его памяти наслаждение сладостным общением прежних дней. Если он не любит вспоминать образ ушедшего, тональность его голоса, слова его речей, поступки его доброты, приятные добродетели его жизни! Если, оплакивая потерю друга, он с улыбкой вспоминает, что когда-то обладал им. Кто не знает дружбы, тот не знает и самого чистого удовольствия на земле. Но если судьба лишает нас ее, то, хотя мы и скорбим, не падаем духом; философия все еще рядом, и она поддерживает нас стойкостью. Подумайте, сыновья мои, может быть, в самом зле, которого

мы боимся, есть благо; может быть, сама неопределенность срока дает ему ценность в наших глазах; может быть, все наши удовольствия получают свою изюминку от известной возможности их прервать. Что такое слава солнца, если бы мы не знали мрака тьмы? Что нам освежающие утренние и вечерние бризы, если мы не ощущали пыл полудня? Разве мы должны ценить прекрасный цветок, если бы он вечно цвел, или сочный плод, если бы он всегда висел на ветке? Разве улыбки небес не прекраснее в контрасте с их хмурым настроением, а наслаждения времен года - не благодарнее от их переменчивости? Давайте не будем винить природу, ведь, возможно, в ее явных ошибках скрыта мудрость. Не будем ссориться с судьбой, ведь, возможно, в наших злоключениях кроются семена нашего добра. Если бы наше тело никогда не подвергалось болезням, мы могли бы быть нечувствительны к радости здоровья. Если бы наша жизнь была вечной, наше спокойствие могло бы погрузиться в бездействие. Если бы нашей дружбе не угрожало прерывание, она могла бы лишиться своей нежности. Итак, сыновья мои, в этом наш долг, в этом наш интерес и наше счастье: искать удовольствия в руках добродетели, а боль, которая может нас постигнуть, терпеливо переносить или стойко противостоять ей. *Короче говоря, идти по жизни невинно и спокойно, а на смерть смотреть как на ее мягкое завершение, которое нам подобает встречать с готовым умом, не сожалея о прошлом и не тревожась о будущем*".

Мудрец едва успел закончить свою речь, как из толпы вышел ученый и, склонив голову, с благоговением прикоснулся к коленям своего учителя. "Не отказывай мне в почтении, - сказал он, - и не называй его выражение самонадеянным". Эпикур поднял его на руки: "Колотес, я горжусь почтением твоего юного ума больше, чем почтением собравшейся толпы в Олимпии. Пусть твой господин, сын мой, никогда не теряет своей власти над ним, как я чувствую, что он никогда не будет злоупотреблять ею".

ГЛАВА XI.

Солнце уже далеко ушло от своего меридиана, но ни один прохладный ветерок не умерил пыл жары. Воздух был скован гнетущей неподвижностью, как вдруг шумный ветер всколыхнул деревья, и низкое рычание раздалось за горизонтом. Ученые удалились перед грозящей бурей, но Теон, в ушах которого все еще звучал музыкальный голос мудреца, а сердце было пропитано его нежными наставлениями, остался, чтобы в одиночестве подкрепиться мыслями, которые они в нем пробудили. "Как безумна человеческая глупость!" - сказал он, прислонившись спиной к дереву, - "Признаваться в восхищении мудростью и любви к добродетели, но постоянно преследовать и клеветать на тех и других... Как тщетно искать славы, уча истине, или искать славы на пути добродетели!"

"Твои сожаления напрасны, сын мой", - прозвучал в его ухе хорошо знакомый голос.

"О, мой дух-хранитель!" - вскричал испуганный юноша, - "Это ты?"

"Я задерживаюсь, - ответил Гаргеттиан, - чтобы наблюдать за приближением бури, и, полагаю, ты делаешь то же самое".

"Нет, - ответил юноша, - я почти не обращал внимания на небеса".

"Однако сейчас они необычны". Теон посмотрел туда, куда указывал мудрец: на голове Гиметта скопилась темная масса испарений, из которой в небо устремились две колонны, похожие на ветви гигантского дуба. Противостоящее солнце, стремительно несущееся к горизонту, казалось красным сквозь раскаленную атмосферу и бросало глубокие блики на их

мутные бока. Вскоре половина пейзажа почернела от опускающихся туч, которые, с каждым мгновением увеличиваясь в объеме и плотности, казалось, касались лона земли. Западная половина сияла блестящим светом, словно расплавленное золото. Далекие очертания были прочерчены огненным карандашом, а сады и виллы, испещрявшие плед, казались озаренными ликованием.

"Смотри, - сказал мудрец, протягивая руку к позолоченной сцене, - смотри на образ той славы, которая не основана на добродетели. Так ярко она может сиять на мгновение, но облако забвения или бесславия быстро покрывает ее славу".

"Так ли это?" - сказал Теон. "Разве не мерзкие людишки заполнили языки людей, а благородные забыты? Разве титулованный убийца не впишет свое имя на скрижалях вечности мечом, обмакнутым в кровь своих товарищей? И разве человек, который провел свою молодость, и мужество, и возраст в судах мудрости, который насадил мир у очага и дал истину подрастающему веку, разве он не сойдет в могилу в тишине, его кости не будут почтены, а имя забыто?"

"Возможно, его имя; но если он насаждал мир у очага и давал истину подрастающему веку, то, конечно, не его лучшая часть - его добродетели. Не путайте шум и славу. Человек, которого помнят, не всегда в почете; и подумайте, ради чего человек трудится, то, вероятно, он и завоюет. Титулованный убийца, сплетающий свою судьбу с судьбой империй, вместе с ними войдет в историю потомков. Мудрец, творящий свои дела в тишине уединения, незамеченный своим поколением, уйдет в тишину могилы, неизвестный будущему".

"Но если предположить, что его знают? Как мало поклонников стекается к его святыне, и какие миллионы к святыне другого!"

"А эти немногие, сын мой, кто они? Мудрые люди земли, просвещенные патриоты, проникательные философы. А кто эти миллионы? Невежды, предрассудки и лентяи. И все же, давайте не будем так заблуждаться относительно разума нашего вида, говоря, что они всегда отдают честь злему, а не полезному, благодарят своих угнетателей, а не благодетелей. В отдельных случаях они могут быть слепы, но в целом они справедливы. Блеск действия, смелость предприятия или блеск величия могут поразить их воображение и погубить их рассудок, но никогда тирания власти, распушенность жестокости, грубость порока не являются предметом их обожания, так же как невинность и полезность добродетели, которые они презирают. Объединенный опыт человечества признал добродетель великим благом: более того, это убеждение настолько универсально, что даже те, кто оскорбляет ее в своей практике, склоняются перед ней в своем понимании. Человек по большей части более глуп, чем плут, более слаб, чем развратен в действиях, более невежествен, чем порочен в суждениях; и редко он бывает настолько слаб и настолько невежествен, чтобы не видеть своих собственных интересов и не ценить того, кто их отстаивает. Но скажем, что он часто клеветает на добродетельных и преследует мудрых; он делает это скорее по ошибке, чем из-за испорченности. Он легковверен и по злему умыслу принимает добродетель за лицемерие; он суеверен, и некоторые истины мудрости кажутся ему профаническими. Скажите, что он воздаст должное пороку; вы увидите, что, когда он это делает, он считает ее добродетелью. Лицемерие скрывает ее уродство, или талант украшает ее красотой. Так есть ли здесь повод для гнева? Скорее, конечно, для сострадания. Есть ли здесь повод для отвращения? Скорее, конечно же, для отвращения. Чем темнее невежество, тем больше похвал мудрецу, который его рассеивает; чем глубже предрассудки, тем больше славы мужеству, которое их преодолевает. Но может ли смелость быть напрасной? Может ли мудрец пасть жертвой невежества, с которым он борется? Он может; он часто это делает. Но прежде чем вступить в

бой, не знает ли он, чем рискует? Риск - для себя, выгода - для человечества. Для благосклонной души шансы стоят того, чтобы бросить их; и хотя сейчас они против него, он может выиграть в будущем. Мудрец, чье зрение очищено от тумана предрассудков, может простереть его над существующей эпохой, чтобы зажечь горизонт последующей, и увидеть, возможно, нерожденные поколения, оплакивающие несправедливость своих отцов и поклоняющиеся тем истинам, которые они осудили. Или же все обстоит иначе? Живет ли он в преклонном возрасте и видит ли, как поток времени течет по почве, еще более заросшей предрассудками и злом? Скажите тогда, будет ли похвала такого мира достойным предметом его честолубия, или он будет ревновать к славе, которую невежество приносит недостойным? Но как бы то ни было, сын мой, в практике добродетели мы должны искать не голос славы, а покой самоудовлетворения. Цель мудреца - сделать себя независимым от всего, чем он не может управлять внутри себя. Однако, говоря о независимости, я имею в виду не безразличие; делая себя достаточным для себя, мы не должны забывать о толпе вокруг нас. Мы мудры не в презрении к другим, а в спокойном одобрении самих себя".

"Ты все еще опускаешь голову, сын мой?" - сказал мягкий философ, положив руку на плечо своего молодого друга.

"Твои слова глубоко запали мне в душу, - ответил Теон, - но они не прогнали тоску, которую там нашли. Я не настолько живу в мире, чтобы не зависеть от того, что происходит вокруг меня, и не могу простить проступки своих товарищей только потому, что они совершают их по незнанию. А разве не само их невежество часто становится преступлением, когда голос истины шепчет им на ухо?"

"А если они не слышат ее шепота в одно ухо, то это потому, что предрассудки громко кричат в другое".

"Предрассудки! Я ненавижу предрассудки", - сказал Теон.

"И я тоже", - сказал Мастер.

"Да, но меня провоцируют на это".

"Подозреваю, что это не избавит от зла".

"Ничто не избавит от него. Оно заложено в человеческой природе".

"Тогда, поскольку мы люди, оно может быть присуще и нам. Поверь мне, сын мой, лучше исправлять себя, чем искать недостатки в ближних".

"Но разве нельзя делать и то, и другое? Можем ли мы не видеть ошибок мира, в котором живем, и видеть, можем ли мы не гневаться на них?"

"Конечно, не видеть их, но, я надеюсь, очень возможно, сердиться на них. Тот, кто теряет самообладание из-за глупости других, показывает, что и сам глуп. В таком случае они имеют такое же право жаловаться на него, как и он на них. И разве я не пытался показать вам, что, когда вы станете мудрым, вы будете независимы от всего, чем вы не можете управлять внутри себя? Вы говорите, что сейчас вы не таковы. Я признаю это, но когда ты станешь мудрым, ты станешь таким. А пока ты мудр, ты не имеешь права ссориться с чужим невежеством".

"Я никогда не смогу быть независимым от своих друзей, - ответил Теон. "Я всегда должен чувствовать несправедливость, допущенную по отношению к ним, хотя мог бы не обращать внимания на то, что касается только меня самого".

"Почему? Что позволило бы тебе не обращать внимания на то, что было сделано по отношению к тебе?"

"Сознательная невинность. Гордость, если хотите. Презрение к глупости и невежеству моих судей".

"Ну, а вы в меньшей степени осознаете невинность своего друга? Если да, то где же ваше негодование? А если нет, то разве у вас меньше гордости за него, чем за себя? Уважаете ли вы ту глупость и невежество в его судьях, которые вы презираете в своих собственных?"

"Я полагаю, это не выдержит критики", - сказал Теон. "Но ты должен простить меня, если, созерцая Эпикура, я возмущаюсь клеветой, которая осмеливается дышать на его чистоту".

"А ты думаешь, ты сам был объектом возмущения, когда говорил о нем как о чудовище порока!"

"Да, я чувствую, что был".

"Но он чувствовал себя иначе, - сказал Мастер, - а кто, как вы думаете, может чувствовать себя наиболее разумно?"

"Надеюсь, это Эпикур", - сказал юноша, хватая своего наставника за руку. Тут их разговор прервала разразившаяся буря. Огонь вспыхнул на горизонте, гром прогремел над зенитом, и первые крупные капли упали с отяжелевших туч. "Мы находимся недалеко от храма, - сказал мудрец, - давайте укроемся под его портиком. Там мы сможем наблюдать за бурей, не намочив кожу". Едва они успели укрыться, как дождь хлынул потоком. Илосс, который под палящим солнцем превратился в слабый ручеек, вскоре заполнил и переполнил свое ложе: волна за волной, внезапно вздымаясь, обрушивались на него, словно он только что вырвался на свет из чрева своей родительской горы. Но жестокость бури вскоре исчерпала свою силу. Уже гром гремел с большими перерывами, и слабый свет, похожий на начало утра, забрезжил на западных небесах. Наконец солнце освободилось от туч. Оно стояло на краю волн и падало ровными лучами на пылающий Саламин и сверкающую землю. Мудрец стоял со своим молодым другом в молчаливом восхищении, когда его взгляд привлек всадник, скакавший по равнине прямо к ним. Объект его внимания уже почти достиг реки, когда он увидел, что всадник - женщина. Быстрые ноги коня уже коснулись противоположного берега. "Великий бог! Она не попытается пройти!" - воскликнул юноша, бросившись к реке. "Стой! Стой!" - крикнул он. Она натянула поводья, но слишком поздно. Животное, привыкшее к переходу и ослепленное скоростью, бросилось в поток. Теон сорвал с плеч свою мантию и уже собирался перевернуться на бок, как вдруг его схватил Эпикур.

"Не спеши. Конь силен, а всадник искусен". Голос, произнесший эти слова, был спокойным и отчетливым, но его привычная музыка сменилась глубоким тоном подавляемого ужаса. В этот момент Теону почудился акцент.

"Ты знаешь ее? Она твой друг? Она тебе дорога? Если да...", - он сделал еще одно усилие, чтобы броситься вперед, но его удержал Эпикур. Он посмотрел в лицо философа. В нем не было ни малейшего движения, только рот дрожал, а глаза были устремлены на борющееся животное. На полпути он навалился грудью на воду и, кажется, испугавшись быстрого течения, попытался повернуть. Всадница, видя опасность, сжала поводья, голосом и усилиями пыталась побудить его к борьбе. Теон снова посмотрел на мудреца. Он увидел, что тот ослабил свою мантию и готов испытать потоп. "Заклинаю тебя богами! - сказал юноша, - что моя жизнь против твоей?" В свою очередь он схватил мудреца. "Позволь мне спасти ее! Я спасу ее - клянусь!" Мгновение они оба боролись за прыжок. "Клянусь, - продолжал Теон с

неистовой энергией, - что если ты уйдешь, я последую за тобой". Он сделал еще одно усилие и бросился из трюма Эпикура в реку. Сильный от природы, он был вдвойне силен в этот момент. Он не чувствовал страха, не видел опасности. Через мгновение он оказался в центре течения - еще один взмах, и он вцепился в гриву коня. Но и тогда испуганное животное уступило дорогу потоку. Всадница все еще боролась за свое место. Но силы ее быстро иссякли, и она протянула руку со слабым криком отчаяния. Теон бросился вперед, но быстрее течения; он с силой ударил коня и подхватил одной рукой истекающую кровью девушку. Затем, наполовину подчиняясь течению, он расступился перед ревущими водами и с почти нечеловеческим усилием устоял перед их яростью. Задыхаясь, захлебываясь, сбитый с толку, но так и не успокоившийся, он добрался до суши, но не знал как. Когда к нему вернулось сознание, он обнаружил себя лежащим на кушетке в объятиях Эпикура. "Где я, - спросил он, - и где прекрасная девушка?"

"В безопасности, в безопасности, как ее великодушный избавитель. О сын мой! Теперь я действительно сын, когда я обязан тебе своей Гедеей".

"Значит, это был твой приемный ребенок?" - воскликнул юноша, с криком восторга бросаясь на грудь мудреца. "Но скажи мне, - сказал он, вставая и оглядывая Метродора, который с двумя другими учеными стоял рядом с кушеткой, - как я здесь очутился?"

"Я полагаю, - сказал Метродор, - что учитель приплыл к тебе на помощь - по крайней мере, мы видели, как он поднимал тебя и Гедеею из воды".

"Я следил за твоей силой, сын мой, и берег свою, пока она не подведет; когда я заметил, что она подводит, я пришел к тебе на помощь. Теперь успокойся немного, а я пойду и надену сухую тунику".

ГЛАВА XII.

Поднявшись из теплой ванны и хорошенько растерев конечности мазями, Теон в здравии и бодрости духа присоединился к ужину. В нее входили магистр, Леонтий, Метродор и еще двое ученых, чьи лица были ему незнакомы. В мягких манерах одного из них, не лишенных некоторой неловкости, в серьезном спокойствии его черт, в отвлеченном раздумье, овевающим его лоб и приковывающем его мягкий взгляд, было что-то такое, что заставило его предположить, что это Полиэн. Другой, чья походка отличалась достоинством мужественности и искусством; чье лицо, не будучи красивым, обладало той красотой, которую всегда в большей или меньшей степени придают чертам утонченные чувства и хорошо сохранившийся ум; весь его облик показывал одновременно прекрасного ученого и приятного человека, мгновенно привлек внимание и любопытство Теона. Все приняли юношу с поздравлениями, а Метродор, заключив его в объятия, шутливо упрекнул его как жадного и варварского захватчика, уносящего в своем лице всю любовь и честь Сада. "Но все же, - добавил он, - будь осторожен, ибо я сомневаюсь, что ты уберег и зависть".

"Я верю в это", - сказал Теон. "По крайней мере, я знаю, что должен завидовать тебе или любому из твоего братства, кто рисковал своей жизнью, да, или потерял ее, служа твоему господину или тому, кого твой господин любил".

"Хорошо сказано, мой дорогой юноша, - сказал незнакомец, беря его за руку, - и когда ты еще увидишь нимфу, которую ты так галантно спас, ты, возможно, сочтешь не меньшим предметом зависти человека, который рискует жизнью ради нее или того, кого она любит".

Они двинулись к столу, и тут Леонтий шепнул Теону: "Гермах из Мителены, закадычный друг Эпикура".

"Благодарю тебя, - ответил Теон, - ты хорошо понял мое любопытство".

Они уже собирались разместиться, как вдруг в проходе послышался шум, и все взгляды обратились к двери. "Да, сестра, вы можете спокойно позволить мне идти своей дорогой. Идите, идите, мне совсем хорошо, совсем тепло, и я вполне активна. Говорю вам, вы содрали с меня кожу - не сотрете ли вы и плоть?" И вошла, легко ступая, как нимфа Диана, юная Хедея. Белое одеяние, небрежно поправленное, с неподражаемым изяществом ниспадало на ее воздушную фигуру; с такой же небрежностью длинные волосы, еще влажные от недавних волн и взъерошенные заботливой помощницей, свисали по плечам до пояса. Ее лицо, хотя и бледное от поздней тревоги и усталости, светилось жизнью и радостью. Ее полные темные глаза сверкали умом, а губы, хотя их коралловый цвет слегка поблек, были прекрасны в улыбке. В одной руке она держала кубок, в другой - миртовую чашу. "Кто из них мой герой?" - спросила она голосом более сладким, чем вечерний зефир, оглядывая доску. "Я прав?" - ответил Теон. Юноша, заглядевшись на прекрасное лицо, забыл ответить. "Нет, это статуя?" - наклонившись вперед, она смотрела на него, как бы с любопытством.

"Нет, раб", - ответил Теон, полуулыбаясь, полукраснея, преклоняя колено, пока она возлагала гирлянду ему на голову.

"Я пришла, чтобы дать тебе залог, - сказала она, поднося кубок к губам, - и попросить тебя дать залог мне, - и с чарующей грацией протянула его юноше. Он в безмолвном экстазе принял кубок из ее тонких пальцев и, повернувшись той стороной к своему рту, к которому прикоснулось ее прикосновение, сразу же выпил глоток вина и любви.

"Осторожно, - прозвучал голос в его ухе, - это кубок Цирцеи". Он обернулся: за его спиной стоял Полиэн, но, увидев его неподвижные черты, он с трудом поверил, что шепот произнесен им самим.

"Я знаю, - продолжал светлый, указывая на стол, - что для утопленника здесь есть только холодный напиток. Мой мудрый отец знает, как успокоить разум, но если вам нужен комфорт для тела, обратитесь к моей доброй кормилице. Она искуснее всех готовит эликсиры, микстуры и всевозможные приятные на вкус лекарства, какие только можно найти во всей Греции, во всей Азии, да и на всей земле. А теперь освободите место, - отступив от компании и ведя Теона за руку к верхнему краю стола. "Узрите короля пира".

"Это если ты королева", - сказал опьяневший юноша.

"О! Конечно, - сказала она, усаживаясь рядом с ним, - я никогда не отказываюсь от последствий, когда могу их получить".

"Где бы вы ни были, вы имеете в виду", - сказал Мастер, смеясь.

"И разве это не везде?" - спросил Гермах, кланяясь прекрасной девушке.

"Да, полагаю, так и есть. Красивое лицо, друзья мои, может многое предвещать; своенравная натура может все перенести. У меня и то и другое в совершенстве, не так ли?"

"Слава Венере и милостям!" - сказал Леонтий; "наша сестра принесла из колледжа Пифагора сердце столь же прекрасное, как и приняла в него".

"Конечно, а вы ожидали иного? Пша! Вы, философы, ничего не знаете о человеческой природе. Я мог бы сказать вам еще до этого последнего эксперимента, что юмор заключается в контрасте, и что острослов найдет больше поддержки в синоде серьезных мудрецов, чем в команде смеющихся умников. Вы должны знать, - обратился он к Теону, - что я был в гостях у одного мудреца, *очень* мудрого человека, который с юности следовал прихоти, а у всех мудрецов есть прихоти, - восстановить заброшенную школу Пифагора в ее первозданном величии. Соответственно, он собрал и воспитал около дюжины покорных юношей к своему полному удовлетворению, ибо ни один из них не смеет отличить правую руку от левой, но только по авторитету своего хозяина, вдвойне подкрепленному авторитетом великого основателя. Короче говоря, у них нет ни собственного кошелька, ни собственного времени, ни собственного языка, ни собственной воли, ни собственной мысли. Невозможно представить себе более совершенное сообщество. Более добродетельного, бессодержательного, более научно абсурдного или более мудрого невежественного".

"Fie, fie, you giddy jade," said the Master, smiling, while he tried to frown.

"Вовсе нет. Я рассказываю серьезную историю, основанную на фактах".

"И мы все слушаем", - сказал Гермах, - "так что позвольте нам узнать все до конца".

"Весь? Нет, ты уже получил его. Обитель блаженных; дом, в котором двенадцать тел, а один мозг обслуживает их всех".

"Почему, - ответил Гермах, - я полагаю, что у тебя дома около сотни тел в таком же положении".

"Конечно; так я и сказал мудрецу-пифагорейцу, когда он так самодовольно смотрел на свои двенадцать частей механизма, и заверил его, что если бы не я, то в Саду не было бы ни одного оригинала, кроме Мастера. Уверяю вас, отец, я так же точно описал ваше хозяйство, как сейчас описываю хозяйство старого пифагорейца. И, по удивительному совпадению, я помню, что он кричал: "Фи, фи", как и вы сейчас. И снова это была самая совершенная семья: у мужчин - покой, метод, добродетель, обучение и абсурд, у женщин - тишина, порядок, невежество, скромность и глупость".

"И скажи, сестра, - спросил Метродор, - что заставило тебя покинуть общество, которое давало такую пищу для твоей сатиры?"

"Потому что, брат, самая богатая пища быстрее всего приедается. Три дня я провел в полном довольстве; четвертый убил бы меня".

"И твоих друзей тоже", - сказал философ, покачав головой.

"Убил их? Они никогда не знали, что у них есть жизнь, пока я не выяснил это для них. Нет, нет, я оставил после себя больные сердца. Хозяин, конечно, - ах, хозяин! Бедняга, признаться ли мне в этом? Прежде чем я покинул дом, он застал одного из своих учеников, смотрящимся в зеркало со свечой, услышал, что другой разжигал огонь мечом, и, о! ужаснее всего, что третий проглотил боб.^[3] Если бы я мог продержаться еще три дня, я мог бы намотать свой пояс на шею всей дюжины, взвалить их на спину и положить у ног Эпикура."

3. Ссылаясь на причудливые суеверия Пифагора, или, возможно, справедливее было бы сказать, его последователей.

"А что говорил Учитель все это время?" - спросил Леонтий.

"Что он говорил? Что он говорил? Я не слышал, что он говорил, ибо читал то, что он чувствовал".

"И что же он чувствовал?" - спросил Гермах.

"То, что чувствовал *ты*, и ты тоже", - посмотрел на Полиэнуса. "Да, и ты тоже, мудрейший философ, - и, коротко обернувшись к Теону, - то, что ты должен почувствовать, если еще не почувствовал, - что я был чрезвычайно остроумен, чрезвычайно забавен и чрезвычайно красив".

"И ты думаешь, - сказал Гарджеттиан, - что, чувствуя все это, мы не можем на тебя сердиться?"

"Нет, что *вы* думаете? Но нет, нет, я знаю вас всех лучше, чем вы сами себя знаете. И я думаю, что вы *не можете*, а если и *можете*, то как поэт, который проклиная музу, которую он стремится умиловить. О! Философия! Философия! Ты используешь жесткие формулировки и делаешь серьезное лицо, но твои формулировки - всего лишь слова, а твое лицо - маска. Искусный гистрион, который, когда с него снимают шкуру, краску, штукатурку и одежду, стоит не выше, не красивее и не могущественнее, чем самый юный, самый бедный и самый простой из твоих зияющих поклонников. Друзья, смейтесь и хмурьтесь, но покажите мне человека, самого мудрого, самого серьезного или самого глупого, которого не смогла бы выставить дураком яркая пара глаз".

"Ах! Ты, гордячка, - сказал Гермах, - трепещи! Помни, что голубоглазая Сапфо умерла в конце концов из-за Фаона".

"Что ж, если такова моя судьба, я должна покориться. Я не отрицаю, что, будучи мудрой до сих пор, не превращусь в дурочку вместе с философами, прежде чем умру".

"Какая прекрасная школа для воспитания молодежи, - сказал Мастер, - старый пифагореец, должно быть, считает мою".

"Если судить по мне как по образцу, то есть. И поверьте мне, отец, я лучший. Разве я не практикую то, что ты проповедуешь? Разве то, к чему вы показываете путь, не доступно мне? Посмотрите на мою легкую ногу, загляните в мои смеющиеся глаза, прочитайте мое веселое сердце и скажите - если удовольствие не мое. Признайтесь, что я иду к цели короче, чем ваши мудрейшие ученые, да, впрочем, и чем ваш мудрейший я. Вы учитесь, читаете лекции, спорите, увещеваете. И для чего все это? Как будто нельзя быть хорошим, если не учиться, и счастливым, если не говорить. Вот я - я думаю, что я очень хорош, и я совершенно уверен, что я очень счастлив; но я никогда в жизни не написал ни одного трактата и едва ли могу слушать его без зевоты".

"Теон, - сказал Эпикур, улыбаясь, - теперь ты видишь жрицу наших полуночных оргий".

"Ах! Бедный юноша, должно быть, в мое отсутствие Сад показался тебе скучным местом. Но наберись терпения, в будущем здесь будет лучше".

"Более опасным", - сказал Полиэнус.

"Не обращай на него внимания, - прошептала Гедея на ухо коринфянину, - он не тот серьезный человек, которого не может вывести из себя яркая пара глаз". Это очень странно,

- продолжала она, оглядывая доску. "Вот я, чужестранка, да еще полуутопленница, которой поручено развлекать все это ученое общество".

"Нет, девочка моя, - сказал магистр, - тебе нужно было утонуть целиком, чтобы твои друзья могли обеспечить себе счастье быть выслушанными".

"Действительно, я считаю, что это правда; и если учесть, что самое большое удовольствие в жизни - это быть выслушанной, то я удивляюсь, как нашелся хоть один человек, который вытащил меня из воды. Коринфянин, конечно, не знал, что спасает; но то, что Мастер намочил свою тунику, служа мне, - это очень непонятное обстоятельство. Есть ли для этого какая-нибудь философская причина?"

"Боюсь, что нет".

"А в математике?" - обратился он к Полиэнусу. "А вот и доказательство моих доводов. Может ли какой-нибудь человек больше походить на мудрость или меньше на счастье? Это следует из диаграмм и этики. Мой юный коринфянин, прими предостережение".

"Хотел бы я, чтобы мы могли прикрепить тебя к диаграмме", - сказал Леонтий.

"Милости просим! И почему ты этого желаешь? Думаешь, я стану от этого мудрее? Пусть Полиэнус рассудит, не мудрее ли я его. Я восхищаюсь разными рецептами, которые дают разные врачи. Жена доброго пифагорейца посоветовала мне дистаф".

"Что ж, - сказал Гермах, - это тоже может помочь".

"А почему бы тебе самому не взять ее?"

"Я, видите ли, занят философией".

"И я тоже, смеясь над этим. Ах! Мой мудрый брат, каждый человек думает, *что* совершенство, что он *сам* - это единственное знание, которым он обладает, и единственное удовольствие, которое он преследует. Поверь мне, существует столько же способов жить, сколько людей, и один из них не более пригоден для того, чтобы руководить другим, чем птица руководит рыбой или рыба - четвероногим".

"Ты бы создала странный мир, будь ты его царицей", - сказал Гермах, смеясь.

"Такой же странный, и не более странный, чем сейчас. Почему? Я бы приняла его таким, каким нашла, и оставила таким, каким нашла. 'Tis you philosophers, who would rub and twist, and plague and doctor it, and fret your souls out, to bring all its heterogeneous parts, fools, wits, knaves, simpletons, grave, gay, light, heavy, long faced and short faced, black, white, brown, straight and crooked, tall, short, thin and fat, to fit together, and patient reflect each other, like the acorns of an oak, or the modest wives and helpless daughters of the good citizens of Athens; Это вы, говорю я, создали бы странный мир, будь вы его королями - вы бы укорачивали и удлиняли, сжимали, вытягивали и вырезали человеческие умы, чтобы они соответствовали вашим системам, как тиран делает тела людей, чтобы они соответствовали его кровати."

"Я допускаю, что в твоих глупостях есть доля правды, девочка моя", - сказал Мастер.

"И я согласен, что в Афинах не найдется философа, который бы согласился с этим, кроме тебя самого. Ты увидишь, мой юный герой, - обратился он к Теону, - что мой отец философствует больше смысла, то есть меньше абсурда, чем любой человек со времен семи мудрецов, нет! даже чем философствовали сами семь мудрецов. Ему не хватает только быть совершенно мудрым человеком..."

"Сжечь, - сказал Мастер, - его философские книги и напеть мелодию для твоей лиры".

"Нет, пусть я сама спою ей мелодию". Она выскочила из кушетки в комнату и через мгновение вернулась с инструментом в руках. "Не бойся, - сказала она, кивнув мудрецу, когда тот легкими движениями набирал аккорды, - я буду свататься не к своему любовнику, а к твоей госпоже".

"Приди, богиня! Приди! Не в твоей власти",
С походкой и одеждой строгой,
И грозным челом суровым,
Как суровый Олимп в судный час;
Но приди, взглядом и сердцем уверяя,
Приди с улыбкой манящей в глазах,
С мягким движеньем под лидийские меры,
Облеченный в милости, любовь и наслажденье,
Связанный с зоной Базилеи.
Приди, Добродетель! Приди! В радостном тоне
Мы приветствуем тебя у нашего очага,
Ибо хорошо мы знаем, что только ты
Способна подарить самое чистое блаженство на земле".

"Нет, спасибо, нет. Я сама получу свою награду", - и, забежав за спину Эпикура, она обвила его шею своими белыми руками и прижалась щекой к его губам. Затем, поднявшись, "Добрых снов тебе!", взмахнула рукой и, улыбнувшись Теону, в одно мгновение исчезла. Юноша больше ничего не видел и не слышал, но сидел, как во сне, пока все не разошлись.

"Осторожнее, - прошептал магистр, выходя за ним в прихожую. "Купидон - коварный бог, он может пронзить чужое сердце и держать щит перед своим собственным".

ГЛАВА XIII.

Ночной освежающий воздух обдувал щеки Теона и шелестел миртом на его челе; но тонкий жар любви, который струился по его жилам и пульсировал в сердце и висках, был неподвластен их охлаждающему воздействию. Шумные дела жизни теперь сменились на улицах шумным весельем. Песни и танцы доносились из открытых порталов; юные поклонники Вакха, в полном неистовстве бога, спешили с вечернего пира в места полуночного разгула, а трепещущий влюбленный скользил мимо на украденную встречу, сторонясь даже света бледной сестры Дня. Теон круто повернул от толпы и инстинктивно направился на общественную прогулку, в этот час всегда уединенную, где он часто

размышлял о тайнах философии и пытался своим незрелым умом удержать равновесие между доктринами ее враждующих школ. Теперь его юношескую фантазию не занимали столь глубокие и высокие мысли. Он брел дальше, его чувства были погружены в бред, не менее сильный, чем от вина, пока его шаги не были внезапно остановлены несколько грубой встречей с человеческой фигурой, идущей более целеустремленно, чем он сам. Он попятился назад, и его глаза встретились с глазами Клеанфа. Стоик приостановился на мгновение, затем двинулся дальше. Но Теон, как бы мало ему ни хотелось иметь такого спутника в такой момент, окликнул его по имени и пристроился рядом. Клеанф снова молча смотрел на него, и тогда Теон, проследив за направлением его взгляда, поднес руку к вискам и, покраснев, снял оскорбительную гирлянду. На мгновение он задержал ее, а затем, положив на грудь, сказал: "Ты неправильно оцениваешь этот невинный знак - залог признательности за жизнь, выкупленную из волн".

"Если бы я мог получить залог искупления твоей добродетели, Теон, от потопа гибели! Ради тебя я открыл тома этого гладкого обманщика. И разве несколько честных слов и прекрасный облик защитят подобные учения от порицания? Неужели тот, кто лишает добродетель ее возвышенности, богов - их могущества, человека - его бессмертия, а творение - его провидения, может сойти за учителя истины и толкователя законов природы? Где твой разум, Теон? Где твое нравственное чувство? Видеть в таких учениях, как эти, не что иное, как нечестие и преступление, или воображать, что тот, кто их отстаивает, может заслужить не что иное, как презрение мудрых и поношение добрых?"

"Я не знаю, что таковы доктрины Эпикура, - сказал юноша, - и вы извините мой дальнейший ответ, пока я не изучу философию, которую вы так горько и, по-видимому, так справедливо осуждаете".

"Философия? Не стоит называть ее по имени".

"Нет, - с улыбкой ответил Теон, - в Афинах так много нелепостей, удостоенных этого имени, что комплимент мог бы остаться неоспоренным, даже если бы он относился к кому-то менее достойному, чем, на мой взгляд, мудрец Гаргеттиум. Но, - предотвратил гневное прерывание стоик, - моя медлительность в суждениях и порицаниях оскорбляет твой энтузиазм. Опыт трех дней научил меня этой осторожности. Пока что я знаком скорее с философом, чем с философией; мои предубеждения поначалу были одинаково сильны против обоих. Обнаружив свою ошибку в отношении одного, не должен ли я прочитать, выслушать и изучить, прежде чем осуждать другого? Тем более что все, что я услышал в саду, до сих пор убеждало мой разум, пробуждало восхищение и любовь".

"Позвольте мне задать вопрос, - сказал Клеанф, остановившись и устремив свой пронзительный взгляд на лицо собеседника, - почитаете ли вы богов, верите ли вы в созидающую причину и управляющее Провидение?"

"Конечно, верю", - ответил Теон.

"Как же тогда почитать человека, который заявляет о своем сомнении в том и другом?"

"Так, по моим сведениям, никогда не поступал сын Неоклеса".

"Но в слухах всего мира он был и есть".

"Я так слышал и причислил это к клевете его врагов".

"Он так писал, и этот факт признают его друзья".

"Я прочту его труды, - сказал Теон, - и расспрошу автора. Я убежден, что более откровенного ума, каковы бы ни были его заблуждения, чем ум Эпикура, не существует; я бы сказал также, что ум, более свободный от заблуждений. Но он научил меня считать, что ни один ум, каким бы мудрым он ни был, не является непогрешимым".

"Вы называете такие доктрины ошибками? Я бы скорее назвал их преступлениями".

"Я не возражаю против этого слова", - сказал Теон. "Я все узнаю. Боги хранят вас! Доброй ночи". Они вошли в город, и друзья разошлись.

ГЛАВА XIV.

Беспокойные мысли порождали спокойную дремоту, и Теон поднялся с беспокойного ложа еще до того, как первый румянец Авроры окрасил чело неба. Он прошелся по дорожкам сада и с нетерпением, впервые не смешанным с опасением, стал ждать появления Мастера. Утверждения Клеанфа подтверждались свидетельствами общественности, но эти свидетельства он научился презирать. Они были сделаны после ознакомления с трудами Эпикура, с которыми он до сих пор не был знаком. Неужели они были неверно истолкованы? Клеанф не был Тимократом. Если он и был предубежден, то не способен на преднамеренное искажение; к тому же он был слишком хорошо знаком с философской наукой, чтобы так грубо не понять рассуждающего, столь ясного, каким казался Эпикур. Эти размышления были вскоре прерваны. Утренняя звезда еще сияла на разгорающемся востоке, когда он услышал приближающиеся шаги и, выйдя из тени на небольшую открытую лужайку, где из перевернутой урны с лежащей наядой струился хрустальный фонтан, встретил Мудреца.

"О нет, - воскликнул Теон, взглядываясь в безмятежный лик мудреца, - этот человек не атеист".

"Какие мысли посещают тебя, сын мой, сегодня утром?" - с доброй заботой спросил философ. "Не сомневаюсь, что погружение в Илисс потревожило твои сны. Неужели образ прекрасной нимфы или речного бога порхал вокруг твоего ложа и прогонял сон с твоих век?"

"С самого начала я был в некоторой опасности, - ответил юноша, наполовину улыбаясь, наполовину краснея, - пока посетитель иного характера, который, как я полагаю, скорее успокаивает, чем тревожит разум, не вызвал в моем воображении множество сомнений и страхов, которые развеяло одно лишь ваше присутствие".

"А кто играл роль вашего инкуба?" - спросил Мудрец.

"Даже вы сами, самый благосклонный и снисходительный из людей".

"Воистину, я скорблю, что поступил так дурно с тобой, сын мой. Но все будет хорошо, если, заразившись болезнью, я стану ее лекарем".

"Покидая тебя вчера вечером, - сказал Теон, - я столкнулся с Клеанфом. Он пришел после ознакомления с твоими трудами и выдвинул против них обвинения, на которые я не был готов ответить".

"Давай выслушаем их, сын мой; возможно, пока ты сам не ознакомишься с ними, мы сможем помочь тебе в твоём затруднении".

"Во-первых, они отрицают существование богов".

"Я вижу только одно другое утверждение, которое могло бы сравниться с этим по глупости", - сказал Эпикур.

"Я знал это!" - воскликнул Теон, торжествуя, - "Я знал, что это невозможно. Но куда только не заведут людей предрассудки, если даже честный Клеанф способен на клевету?"

"Он совершенно не способен на это, - сказал магистр, - и неточность в данном случае я скорее подозреваю в том, что она лежит на вас, чем на нем. *Отрицать* существование богов было бы самонадеянностью для философа; самонадеянность, равная которой может быть только у того, кто *утверждает* их существование".

"Как!" - воскликнул юноша с лицом, на котором изумление, казалось, приостановило все остальные выражения.

"Поскольку я никогда не видел богов, сын мой, - спокойно продолжал Мудрец, - я не могу *утверждать* их существование; и то, что я их никогда не видел, не является причиной для моего *отрицания*".

"Но разве мы не верим ничему, кроме того, что мы можем продемонстрировать наглядно?"

"Ни во что, по крайней мере, в то, что не подтверждается одним или несколькими нашими чувствами; то есть когда мы верим на справедливых основаниях, что, я соглашусь, если брать людей в совокупности, бывает очень редко".

"Но куда приведет нас этот дух? К нечестию! К атеизму! Ко всему, против чего я был уверен, защищая характер и философию Эпикура!"

"Мы еще разберемся, сын мой, в значении терминов, которые ты употребил. Но что касается твоей защиты моей философии, то я сожалею, что ты так много предполагал там, где так мало знал. Пусть это послужит еще одним предостережением от того, чтобы говорить прежде, чем исследовать, и утверждать прежде, чем спрашивать. У меня обыкновение, - продолжал учитель, - с молодыми людьми, посещающими мою школу, откладывать обсуждение всех важных вопросов до тех пор, пока они сами собой, по ходу событий, не придут им в голову. Если их любопытство возбуждено, я стараюсь, насколько это в моих силах, удовлетворить его. Когда вы только вошли в Сад, ваш разум был непригоден для изучения предмета, к которому вы сейчас приступили: теперь это уже не так; поэтому мы приступим к расследованию и продолжим его по порядку".

"Простите меня, если я выражу - если я признаю, - сказал юноша, слегка отшатываясь от своего наставника, - некоторое нежелание вступать обсуждение истин, само обсуждение которых, казалось бы, должно вызывать сомнения, - и..."

"И что тогда?"

"Это сомнение было бы преступлением".

"Именно к этому я и хотел вас подвести; и на этом мы остановимся, пока время и обстоятельства не заставят вас продвинуться в расследовании еще дальше. Во мне мало духа прозелитизма. Простое абстрактное мнение, если предположить, что оно не влияет на поведение или склонности того, кто его придерживается, будет иметь в моих глазах весьма незначительное значение. И только поскольку я верю, что все наши мнения, как бы ни были они внешне далеки от практических последствий, всегда в большей или меньшей степени

влиять на то или иное - наше поведение или наши склонности, - я стараюсь исправить в своих ученых трудах те, которые кажутся мне ошибочными. Насколько я понимаю, вы хотите сказать, что обсуждение некоторых мнений, которые вы считаете священными истинами, будет означать сомнение в этих истинах, и это сомнение в данном случае будет считаться преступлением. Поскольку я считаю такое убеждение несовместимым с откровенностью и милосердием - двумя чувствами, необходимыми как для того, чтобы наслаждаться счастьем самому, так и для того, чтобы распространять его среди других, - я буду требовать его исследования. Если сомнение в какой-либо истине является преступлением, то вера в ту же истину должна быть добродетелью".

"Возможно, лучше выразить это как долг".

"Когда вы обвиняете пренебрежение каким-либо долгом как преступление или считаете его выполнение добродетелью, вы предполагаете существование власти пренебречь или выполнить; и именно осуществление этой власти, в том или ином случае, составляет заслугу или недостаток. Разве не так?"

"Конечно".

"Обладает ли человеческий разум способностью верить или не верить, по своему желанию, в любые истины?"

"Я не готов ответить: но думаю, что да, поскольку он всегда обладает способностью к исследованию".

"Но, возможно, не обладает волей к осуществлению этой власти. Берегитесь, чтобы я не побил вас вашим же оружием. Я думал, что это самое расследование кажется вам преступлением".

"Ваша логика слишком тонка, - сказал юноша, - для моей неопытности".

"Скорее, мои рассуждения слишком близки. Если бы я завалил вас звучными словами и весомыми авторитетами, запутал ваше понимание притянутыми за уши различиями, вы были бы вправе отступить от батареи".

"Мне нечего возразить против справедливости ваших умозаключений", - сказал Теон. "Но не будет ли опасной доктрина, утверждающая нашу неспособность помочь убеждениям; и не можем ли мы растянуть этот принцип до утверждения нашей неспособности помочь поступкам?"

"Можем, и не без оснований. Но мы не станем сейчас проходить через этическую *pons asinorum* необходимости - самую простую и очевидную из моральных истин, и самую затемненную, измученную и избитую учителями морали. Вы спрашиваете, не опасна ли доктрина, которую мы попытались обосновать. Я отвечаю: нет, если оно истинно. Ничто так не опасно, как заблуждение, и ничто так не безопасно, как истина. Опасная истина была бы противоречием в терминах, аномалией в вещах".

"Но что такое истина?" - спросил Теон.

"Это уместный вопрос. Я считаю, что истина - это установленный факт, который превращается в ошибку, как только факт, на котором он основывается, опровергается".

"Значит, я не вижу никакого фиксированного основания для истины".

"У нее, несомненно, есть самое прочное из всех - природа вещей. И только несовершенное понимание этой природы является причиной всех наших ошибочных выводов, будь то в физике или морали".

"Но где, если мы отбросим богов и их волю, запечатленную на наших сердцах, наши проводники в поисках истины?"

"Наши органы чувств и наши способности, развивающиеся в процессе работы органов чувств, - вот единственные проводники, с которыми я знаком. И я не понимаю, почему, даже если допустить веру в богов и в провидение, органы чувств не должны рассматриваться как проводники, предоставленные ими для нашего руководства и обучения. Но вот зло, сопутствующее необоснованной вере, какова бы ни была ее природа. В тот момент, когда мы принимаем одну вещь за должное, мы принимаем за должное и другие вещи: мы начинаем идти по неправильной дороге, и редко когда нам удастся выйти на правильную, пока мы не вернемся к исходной точке. Я знаю только одну вещь, которую философ должен принимать как должное, и то лишь потому, что его вынуждает к этому непреодолимый импульс его природы, и потому, что без этого ни истина, ни ложь не могли бы для него существовать. Он должен принимать на веру свидетельства своих органов чувств; другими словами, он должен верить в существование вещей в том виде, в каком они существуют для его органов чувств. Я не *знаю* ни о каком другом существовании и поэтому не могу *верить* ни в какое другое; хотя, рассуждая по аналогии, я могу *представить себе* другие существования. Так, например, я поступаю в отношении богов. Я вижу вокруг себя в мире, который населяю, бесконечное разнообразие в устройстве материи; множество разумных существ, обладающих различными видами и разной степенью силы и интеллекта, - от червя, ползающего в пыли, до орла, взлетающего к солнцу, и человека, отмечающего на солнце его курс. Возможно, более того, вероятно, что в мирах, которых я не вижу, - в безграничной бесконечности и вечной длительности материи - могут существовать существа всех бесчисленных разновидностей и разного уровня интеллекта, уступающие и превосходящие наш собственный, пока мы не спустимся до минимума и не поднимемся до максимума, которому диапазон нашего наблюдения не дает параллели и о котором наши чувства не в состоянии составить представление. Пока что, мой юный друг, я верю в богов, или в то, что вы хотите сказать о существовании, удаленном от сферы моего знания. То, что вы с уверенностью верите в то или иное невидимое существование, не кажется мне преступлением, хотя и может показаться мне неразумным: так и мое сомнение в том же самом не должно показаться вам моральным преступлением, хотя вы можете считать его ошибочным. Боюсь утомить ваше внимание, и поэтому на данный момент отброшу эти заумные темы.

"Но мы оба будем сполна вознаграждены за их обсуждение, если эта истина останется с вами: мнение, правильное или неправильное, никогда не может быть ни моральным преступлением, ни моральным обязательством само по себе. Оно может быть ошибочным; оно может содержать абсурд или противоречие. Оно может быть истиной или ошибкой: оно никогда не может быть преступлением или добродетелью".

ГЛАВА XV.

Теон оставался прикованным к тому же месту на земле, на котором его оставил Мудрец. В его мозгу пронеслась путаная череда мыслей, которые разум тщетно пытался остановить или проанализировать. В какой-то момент ему показалось, что на его разум упал луч света, открыв перед ним мир открытий, столь же интересных, сколь и новых. И вдруг он отшатнулся, как от края пропасти, глубины которой были скрыты во мраке. "Клеанф справедливо излагал доктрины сада... Но влекли ли эти доктрины за собой то преступление, которое он до сих пор предполагал? Были ли они несовместимы с разумом и непримиримы с добродетелью? Если так, то я сумею обнаружить их ошибочность", - сказал юноша, продолжая вслух свой солилоквииз. "Это было бы плохим комплиментом истинам, которым я до сих пор поклонялся, если бы я уклонялся от их исследования. И все же, сомневаться в могуществе богов! Подвергать сомнению само их существование! Отказываться преклонить колено перед великой первопричиной всего сущего, которая говорит, и дышит, и сияет во всей одушевленной природе! Оспаривать не знаю что - истины, столь же самоочевидные, сколь и священные; которые говорят нашим глазам и ушам; тем самым органам чувств, чьи свидетельства в саду не подлежат обжалованию!"

"Ты возражаешь против свидетельства, юный коринфянин?" - раздался голос, в котором Теон узнал голос Метродора.

"Ты прибыл как раз вовремя, - сказал Теон, - если, конечно, выслушаешь вопросы моего сомневающегося и смущенного ума".

"Скажи лучше, смогу ли я на них ответить".

"Я приписываю тебе эту способность, - сказал Теон, - поскольку слышал, что тебя цитируют как искусного толкователя философии сада".

"В отсутствие нашего Зенона, - с улыбкой ответил ученый, - я иногда играю роль его Клеанфа. И хотя вы можете найти меня менее красноречивым, чем мой брат с крыльца, я обещаю такую же верность тексту моего оригинала. Но здесь есть один, кто может изложить учение по букве и по духу; с таким помощником я не побоюсь привлечь всех ученых и всех мастеров в Афинах".

"Нет, хвались скорее своим делом, чем своим помощником, - сказал Леонтий, подходя и игриво потрепав Метродора по плечу; - и не преувеличивай своих талантов, брат мой. Коринфянин улыбнется твоей ложной скромности, когда ознакомится с твоими трудами и послушает твои логические рассуждения. Я полагаю, - продолжала она, обратив свой спокойный взор на юношу, - что до сих пор ты слушал больше декламации, чем рассуждений. Я могла бы также сказать, что больше софистики, учитывая, что вы ходили и говорили в Лицее".

"Скажите лучше: ходил и слушал".

"Истинно так, и я в это верю, - с улыбкой ответила она, - и хотелось бы, чтобы ваш здравый смысл в этом был более распространен; и чтобы люди довольствовались тем, что напрягают слух, и воздерживались от подчинения своего понимания и мучений ближних".

"Может показаться странным, - сказал Метродор, - что педантизм Аристотеля должен найти столько подражателей, а его мрачные изречения - столько верующих, в городе, который к тому же теперь украшен и просвещен простым языком и простыми доктринами Эпикура... Но язык истины слишком прост для неопытных ушей. Мы отправляемся на поиски знаний, как

полубоги древности на поиски приключений, готовые встретиться с великанами, преодолеть горы, проникнуть в Тартаренские заливы и вырвать свой приз из рук какого-нибудь темного чародея, неуязвимого для всего, кроме зачарованного оружия и одаренных божеством нападающих. Если мы не находим ничего из этого, а вместо этого - ровную дорогу через приятную страну, со знакомым проводником, который направляет наше любопытство и указывает на красоты пейзажа, мы лишаемся всех подвигов и всей известности; и наше тщеславие слишком часто сворачивает с честной и открытой дороги в темные лабиринты ошибок, где мы принимаем тайну за мудрость, педантизм за знание, а предрассудки за добродетель".

"Я признаю истинность метафоры", - сказал Теон. "Но не упрощаем ли мы слишком много, равно как и слишком мало? Не выведем ли мы исследование за пределы, отведенные человеческому разуму, и с дерзостью, близкой к сквернословию, не сорвем ли завесу, скрывающую от нашего взора тайны творения?"

"Не оспаривая смысла использованных вами терминов, - сказал Метродор, - я хотел бы заметить, что опасность того, что мы заведем исследование слишком далеко, невелика. К несчастью, пределы, предписанные нам нашими немногочисленными и несовершенными органами чувств, всегда сужают сферу нашего наблюдения по сравнению с безграничным диапазоном вещей; и это даже тогда, когда мы до предела напрягаем и совершенствуем наши чувства. Мы прослеживаем следствие до причины, а причину до другой причины, и так далее, пока не получим несколько звеньев цепи, протяженность которой, подобно очарованному кругу, не имеет начала и конца".

"Я понимаю, какие трудности, - заметил Леонтий, - охватывают ум нашего юного друга. Как и большинство стремящихся к знаниям, он имеет смутное и неверное представление о том, к чему стремится, и еще более - о том, чего можно достичь. В школах, которые вы до сих пор посещали, - продолжала она, обращаясь к юноше, - воображению представляются определенные образы добродетели, порока, истины, знания, и эти абстрактные качества, или, как мы их называем, образные существа, становятся одновременно предметом умозрения и обожания. Устанавливается закон, и на него опираются чувства и мнения людей; строится теория, и вся живая и неживая природа выступает в ее поддержку; выдвигается гипотеза, и все тайны природы рассматриваются как объясненные. Вы слышали и изучали различные философские системы; но настоящая философия противостоит всем системам. Все ее дело - наблюдение, и результаты этого наблюдения составляют все ее знания. Она не принимает никаких истин, пока не проверит их на опыте; она не выдвигает никаких мнений, не подкреплённых свидетельством фактов; она не признает никаких добродетелей, кроме тех, что связаны с полезными действиями; никаких пороков, кроме тех, что связаны с действиями, вредными для нас самих или для других. Прежде всего, она не выдвигает никаких догм, не спешит утверждать то, что есть, и не называет ничего невозможного. Философская наука - это просто наука наблюдения, как за миром без нас, так и за миром внутри нас; и для того, чтобы продвинуться в ней, необходимы только здоровые чувства, хорошо развитые и тренированные способности и ум, свободный от предрассудков. В отношении внешнего мира она стремится, во-первых, видеть вещи такими, какие они есть, во-вторых, изучать их строение, выяснять их свойства и наблюдать их отношения друг к другу. Что касается внутреннего мира, или философии разума, она имеет в виду, во-первых, исследовать наши ощущения, или впечатления от внешних вещей на наши органы чувств; эта операция включает в себя, и вовлечен в, изучение этих внешних вещей себя: во-вторых, проследить назад к нашим ощущениям, первое развитие всех наших способностей; и снова, от этих ощущений, и упражнения наших различных способностей, как развиты ими,

проследить постепенное формирование наших моральных чувств, и всех наших эмоций: в-третьих, проанализировать все эти наши ощущения, мысли и эмоции, то есть исследовать качества нашей собственной внутренней, чувствующей материи с такой же и даже большей тщательностью, чем мы применяли к исследованию материи, находящейся вне нас: наконец, исследовать справедливость наших нравственных чувств, взвешивать достоинства и недостатки человеческих поступков, то есть, другими словами, судить об их тенденции производить добро или зло, возбуждать приятные или болезненные чувства в себе или других. Поэтому вы заметите, что и в философии физики, и в философии разума все это просто процесс исследования. Это путешествие открытия, в котором, в одном случае, мы поручаем нашим органам чувств изучить качества той материи, которая нас окружает, а в другом - пытаемся, обращая внимание на разновидности нашего сознания, получить знание о тех качествах материи, которые составляют наши восприимчивости мысли и чувства."

"Это объяснение для меня ново, - заметил Теон, - и, признаться, поражает мое воображение. Это чистый материализм!"

"Вы можете назвать его так, - ответил Леонтий, - но, когда вы его так назовете, что тогда? Остается вопрос: истинна она или ложна?"

"Я был бы склонен сказать "ложь", поскольку она разрушает все мои предвзятые представления об истине и ошибке, о правильном и неправильном".

"Истина и ошибка, правильное и неправильное, в смысле *правильное* или *неправильное* - это, я полагаю, вы имеете в виду", - сказал Леонтий. "Вы не подразумеваете моральной правильности или противоположности в вопросе мнения?"

"Если мнение имеет нравственную или безнравственную тенденцию, то да", - ответил юноша.

"Простой факт не может иметь такой тенденции, да и не должен, если мы разумные существа".

"И не имел бы, если бы мы всегда были разумными существами", - сказал Метродор; "но поскольку невежество и суеверие, которые окружают нас в младенчестве и юности, способствуют развитию воображения в ущерб рассудку, мы постоянно заняты придумыванием химер, а не открытием истин; и если когда-нибудь бедный рассудок делает попытку развеять эти причуды мозга, она отталкивается, как святотатец, вторгшийся в религиозные тайны".

"Пока наши мнения не станут опираться на факты, - сказал Леонтий, - ошибка нашего юного друга - самая опасная из всех ошибок, принципиальная и касающаяся многих, - будет вечно пронизывать мир. И именно потому, что я подозревал это ведущее заблуждение относительно самой природы, самой цели и задачи науки, которую он преследует, я попытался объяснить, к чему следует стремиться и чего только можно достичь. В философии, то есть в познании, исследование - это все: теория и гипотеза хуже, чем ничто. Истина - это только подтвержденные факты. Истина, таким образом, едина со знанием этих фактов. Отказываться от исследования - значит отказываться от знания. А считать мнение истинным или ложным, потому что оно противоречит некой предвзятой абстракции, которую мы называем пороком или добродетелью, - это все равно, как если бы мы нарисовали портрет человека, которого никогда не видели, а потом, увидев его, стали бы оспаривать, что это тот человек, о котором идет речь, потому что он не похож на наш портрет".

"Но если бы это мнение мешало другому, в истинности которого мы воображали себя уверенными?"

"Тогда очевидно, что в одном или другом мы заблуждаемся; и единственный способ разрешить затруднение - изучить и сравнить доказательства обоих".

"Но разве некоторые истины не являются самоочевидными?"

"Есть несколько, которые мы можем так назвать. То есть есть факты, которые мы признаем на основании простых ощущений; , например, что целое больше своей части, что два больше одного, которые мы принимаем сразу же на основании свидетельства нашего чувства зрения или осязания".

"Но разве существуют моральные истины такого же характера?"

"Я не знаю ни одной. Моральная истина, полностью опирающаяся на установленные последствия поступков, предполагает процесс наблюдения и рассуждения".

"Как же тогда вы называете веру в председательствующее провидение и великую первопричину?"

"Верой, опирающейся на свидетельства; эта вера будет истинной или ложной в зависимости от правильности или неправильности этих свидетельств".

"Не является ли это скорее самоочевидной моральной истиной?"

"В своем ответе я должен разделить ваш вопрос на две части. Во-первых, это не может быть моральной истиной, поскольку она не выводится из последствий человеческих действий. Это может быть просто истина, то есть факт. Во-вторых, это не самоочевидная истина, поскольку она не очевидна для всех умов и часто становится все менее и менее очевидной, чем больше ее исследуют".

"Но разве существование первой или творящей причины не подтверждается нашими чувствами, всем тем, что мы видим, слышим и чувствуем?"

"Существование всего, что мы видим, слышим и чувствуем, продемонстрировано нашим чувствам; и вера, которую мы даем этому существованию, является немедленной и неотразимой, то есть интуитивной. Существование творящей причины, о которой вы говорите, не продемонстрировано нашим чувствам; и поэтому вера в нее не может быть немедленной и неотразимой. Я предпочитаю выражение "творящая", а не "первая" причина, потому что оно, кажется, имеет более понятный смысл. Когда вы глубже изучите явления природы, вы увидите, что *первой* причины может быть так же мало, как и *последней*".

"Но всегда должна быть причина, производящая эффект?"

"Конечно; и поэтому ваша причина, создающая все, что мы видим, слышим и чувствуем, сама должна иметь производящую причину, иначе вы окажетесь в том же затруднении, что и раньше".

"Я полагаю, что это Существо неизменное и вечное, само не производящее и производящее все вещи".

"Неизменным оно *может* быть, вечным же оно *должно* быть, поскольку все вещи вечны".

"Каждая вещь вечна?"

"Да; то есть элементы, составляющие все вещества, насколько мы знаем и можем рассуждать, вечны и по своей природе неизменны; и, по-видимому, только различное расположение этих вечных и неизменных атомов порождает все разнообразие веществ, составляющих великое материальное целое, частью которого мы являемся. Те частицы, чье своеобразное скопление или расположение мы сегодня называем растительным, завтра переходят в животное и составляют его часть; и это животное снова, путем разделения составляющих его атомов и различного сближения и скопления тех же самых, - или тех же самых с другими атомами, - превращается в какое-то другое вещество, представляющее новую совокупность качеств. К такому простому изложению явлений природы (которое, заметьте, не *объясняет* их чудеса, ибо это невозможно, а лишь *наблюдает* их) нас подводит работа наших органов чувств. При изучении окружающих нас явлений мы должны пользоваться глазами, а не воображением. Видеть вещи такими, какие они есть, - вот все, к чему мы должны стремиться, и это все, что можно сделать. К сожалению, мы мало что можем сделать даже здесь, поскольку наши глаза служат нам для того, чтобы видеть лишь очень слабо. Но если бы наши глаза были лучше - если бы они были настолько хороши, что позволили бы нам наблюдать все арканы материи, - мы никогда не смогли бы получить о них никакого другого знания, кроме того, что они таковы, каковы они есть; и, зная это, то есть видя каждое звено в цепи событий, мы должны знать все, что *может* знать даже всезнающее существо. Один астроном прослеживает движение солнца вокруг земли, другой представляет себе, что земля движется вокруг солнца. Некоторые будущие усовершенствования в науке могут позволить нам установить, какая из гипотез является истинной. Тогда мы установим факт, который может привести к открытию других фактов, и так далее. Пока этот простой и понятный взгляд на природу науки не будет принят всеми, все успехи, которые мы можем сделать в ней, будут сравнительно ничтожны. Пока мы не займемся изучением, наблюдением и констатацией, а не *объяснением*, мы будем работать вхолостую и по-детски: к каждой истине, которую мы можем открыть, мы примешаем тысячу ошибок; а для одного факта мы зарядим наш мозг тысячей фантазий. Этому главному заблуждению относительно реального и единственно возможного объекта философского исследования я склонен приписать все способы и формы человеческого суеверия. Смутная идея о том, что некая таинственная причина не просто *предшествует*, но и *производит* эффект, который мы наблюдаем, заставляет нас блуждать от реального объекта в поисках воображаемого. Мы видим, как солнце встает на востоке: Вместо того чтобы ограничить свое любопытство выяснением времени и способа его восхода, а также его курса на небе, мы спрашиваем *также* - почему оно восходит? Что *заставляет* его двигаться? Невежды сразу же представляют себе некое Существо, несущее ее по небесам на огненных конях и золотых колесах, а ученые говорят нам о законах движения, установленных всемогущим предписанием и поддерживаемых всемогущей волей. Представьте себе истинность обоих предположений: В одном случае мы должны видеть применение того, что мы называем физической силой, в водителе и лошадях, за которым следует движение солнца, а в другом - всемогущую волю, за которой следует движение солнца. Но в любом случае мы должны понимать, *почему* солнце двигалось? *Почему* или *как* его движение следовало за тем, что мы называем импульсом движущей силы или движущего воления? Все, что мы могли бы *тогда* знать, больше, чем знаем *сейчас*, это то, что появлению движения солнца предшествовало другое появление; и если бы мы впоследствии часто наблюдали ту же последовательность событий, они стали бы ассоциироваться в нашем сознании как необходимое предшествование и следствие - как причина и следствие: и мы могли бы дать им название закона природы или любое другое название; но они все равно представляли бы собой просто истину, то есть *факт*, и не окутывали бы никакой другой тайной, кроме той, что заложена в каждом появлении и каждом существовании."

"Но, согласно этой доктрине, - сказал Теон, - было бы не меньше оснований приписывать прекрасное устройство материального мира движению лошади, чем воле всемогущего разума".

"Если бы я увидел, что за движением лошади следует эффект, о котором вы говорите, я бы поверил в какую-то связь между ними; а если бы я увидел, что он следует за волей всемогущего разума - то же самое".

"Но причина была бы неадекватна следствию".

"Этого не могло бы быть, если бы она была причиной. Ибо что представляет собой адекватность, о которой вы говорите? Очевидно, только контакт или непосредственная близость двух событий. Если какая-то последовательность и может быть более прекрасной, чем другая, то, скорее, следствие должно придавать величие предшественнику - следствие причине, - чем причина придавать величие следствию. Но на самом деле все последовательности одинаково прекрасны. То, что свет следует за появлением солнца, так же удивительно, и не более того, как если бы он следовал за появлением любого другого тела, и если бы свет следовал за появлением черного камня, это вызвало бы изумление просто потому, что мы никогда не видели, чтобы свет следовал за таким появлением раньше. Привыкшие, как мы сейчас, видеть свет, когда восходит солнце, мы бы удивились, если бы не увидели свет, когда он восходит: но если бы свет регулярно сопровождал появление любого другого тела, наше удивление такой последовательностью через некоторое время прекратилось бы; и мы бы тогда сказали, как говорим сейчас, что есть свет, *потому что* такое тело восходит; и воображали бы *тогда*, как воображаем *сейчас*, что мы понимаем, *почему* есть свет.

"Подобным образом все существования одинаково прекрасны. Африканский лев сам по себе не более необычен, чем греческая лошадь; хотя весь народ Афин соберется, чтобы посмотреть на льва, и воскликнет: "Как прекрасно!", в то время как никто не обратит внимания на лошадь".

"Верно, но это удивление невежества".

"Отвечаю: опять-таки верно, но таково же и всякое удивление. Если, действительно, рассматривать его в этом и во всех других случаях как просто эмоцию приятного удивления, признающую присутствие нового объекта, то это чувство совершенно рационально; но если оно представляет себе что-то более чудесное по своей сути в новом существовании, чем в привычном, то это явно праздное, то есть неразумное и нерефлексирующее удивление невежества. Для мыслящего разума есть только одно настоящее чудо: это существование всех вещей, то есть существование материи. И единственное рациональное основание этого великого чуда состоит в том, что существование материи - это последнее звено в цепи причин и следствий, к которому мы можем прийти. Вы воображаете еще одно звено - существование силы, создающей эту материю. Мои единственные возражения против этого дополнительного звена, или добавочной причины, состоят в том, что оно *воображаемое* и что оно оставляет чудо в прежнем виде; если, конечно, мы не скажем, что оно добавило другие чудеса, поскольку оно предполагает силу, или, скорее, существование, обладающее силой, примера которой мы никогда не видели."

"Как же так? Разве даже человек не обладает некой творящей силой? И не предполагаете ли вы в вашей инертной материи то самое свойство, которое другие приписывают, как мне кажется, с большим основанием, некоему высшему и неизвестному существованию?"

"Ни в коем случае. Ни одно из известных нам существований не обладает созидательной силой в том смысле, в каком вы предполагаете. Ни существо, которое мы называем человеком, ни одно из существований, объединенных общими названиями "материя", "физический мир", "природа" и т. д., не обладает способностью вызывать к бытию ни свои собственные составные элементы, ни составные элементы любой другой субстанции. Она может превращать одну субстанцию в другую, изменяя положение своих частиц или смешивая их с другими: но она не может вызвать к бытию, как не может и уничтожить сами эти частицы. Рука человека заставляет сближаться частицы земли и воды и, сближая их, производит глину; этой глине она придает правильную форму и, применяя огонь, производит сосуд, который мы называем вазой. Вы можете сказать, что рука человека создает вазу; но она не создает ни землю, ни воду, ни огонь; смесь этих веществ не прибавляет и не убавляет сумму их элементарных атомов. Заметьте, поэтому, что нет никакой аналогии между присущей материи способностью изменять свой внешний вид и качества путем простого изменения положения ее частиц и тем, что вы приписываете некоему невидимому существованию, которое простым волевым усилием должно было вызвать к жизни самую материю со всеми ее чудесными свойствами. Существование, обладающего такой силой, я никогда не видел; и хотя это ничего не говорит против возможности такого существования, это говорит все против *моей веры* в него. Более того, сила, которую вы приписываете этому существованию - способность создавать все вещи из ничего, - будучи не только тем, чего я никогда не видел, но и тем, о чем я не могу составить никакого четкого представления, - должна казаться мне величайшей из всех неправдоподобностей".

"Наш юный друг, - заметил Метродор, - недавно употребил выражение, ошибка в котором, похоже, лежит в основе его затруднений. Говоря о материи, - продолжал он, обращаясь к Теону, - вы употребили эпитет "*инертный*". Что вы имели в виду? И какую материю вы здесь обозначаете?"

"Вся материя, конечно, сама по себе инертна".

"Вся материя, конечно, сама по себе такова, какова она есть, - с улыбкой ответил Метродор, - и это, я бы сказал, живая и активная материя. Опять же, что такое материя?"

"Все, что очевидно для наших чувств, - ответил Теон, - и что противостоит разуму".

"Тогда вся материя - это инертное, лишенное разума. Что же тогда ты понимаешь под разумом?"

"Мне кажется, что в моем определении есть некоторая ошибка", - улыбнулся Теон. "Если бы я сказал "*мысль*", ты бы спросил, является ли всякое существование, лишенное мысли, инертным, или же всякое существо, обладающее жизнью, обладает мыслью?"

"Мне следовало бы спросить. Разум или мысль я считаю качеством материи, составляющей существование, которое мы называем человеком, и это качество мы в той или иной степени находим в других существованиях; многие, возможно, все животные, обладают им. Жизнь - еще одно качество, или сочетание качеств, материи, присущее - не знаю, насколько - многим существованиям. Мы находим ее в овощах; мы могли бы обнаружить ее даже в камнях, если бы наблюдали за их формированием, ростом и распадом. Мы можем назвать этот активный принцип, пронизывающий элементы всех вещей, который приближается и разделяет составные частицы постоянно меняющегося и все же вечно существующего мира-жизни. Пока вы не откроете вещество, которое не претерпевает никаких изменений, вы не сможете говорить об инертной материи: она может быть таковой, по крайней мере, относительно, то есть по сравнению с другими веществами".

"Отнесение мысли и жизни к качествам материи - это что-то новое для меня".

"То, что находится в субстанции, не может быть отделено от нее. И разве вся материя не является соединением качеств? Твердость, протяженность, форма, цвет, движение, покой - уберите все это, и где будет материя? Представлять себе разум независимо от материи - все равно что представлять себе цвет независимо от вещества, которое окрашено: Что такое форма, если не тело определенной формы? Что такое мысль, если не то, что мыслит? Уничтожьте субстанцию, и вы уничтожите ее свойства; и точно так же - уничтожьте свойства, и вы уничтожите субстанцию. Предполагать возможность сохранения одного без другого - очевидный абсурд".

"Ошибка представлять качество в абстракции часто оскорбляла меня в Лицее, - ответил юноша, - но я никогда не считал, что эта ошибка распространяется на разум и жизнь не более, чем на порок и добродетель".

"Ты остановился на многих других", - сказал Леонтий. "Действительно, удивительно, как много острых умов могут применить логический ход рассуждений в одном случае и перевернуть его в другом, точно таком же".

"Чтобы вернуться и, если хотите, завершить нашу дискуссию, - сказал Метродор, - я замечу, что в философии разума невозможно добиться реальных успехов без глубокого изучения природы или материальных существ. Разум - это лишь качество материи, и исследование, которое мы называем философией разума, обязательно является лишь отраслью общей физики или изучением определенной части философии материи".

"Я в долгу перед вашим терпением, - сказал юноша, - и с радостью вторгся бы дальше. Однако сейчас я ограничусь одним замечанием. Общий взгляд на вещи, который вы представляете моему уму, и простота которого, признаюсь, еще более очаровательна, чем его новизна, очевидно, неблагоприятен для религии, а если так, то и для добродетели".

"Сегодня у вас будет возможность подробно изучить этот важный вопрос, - сказал Леонтий. По просьбе некоторых из нашей молодежи магистр сам выскажет свои соображения по этому вопросу".

"Мне все любопытно", - сказал Теон. "Другие учителя вызывали у меня уважение, воспламеняли мое воображение и, как мне кажется, часто управляли моим разумом. Сын Неоклеса внушает мне любовь и завоевывает мое доверие, побуждая меня к собственному суждению, сканируя его аргументы и исследуя основания его собственных мнений. С таким учителем и в такой школе я чувствую, что подозрительность совершенно неуместна; и теперь я вступлю на путь исследования, стремясь лишь открыть истину и готовый расстаться с каждым ошибочным мнением, как только будет доказано, что оно ошибочно".

Примечание переводчика. Как прекрасно современные открытия в области хиромантии и натурфилософии, а также более точный анализ человеческого разума - науки, неизвестные античному миру, - подтвердили ведущие принципы эпикурейской этики и физики - единственной древней школы, действительно заслуживающей этого названия!

К чему привели нас все наши хитроумные изобретения и приспособления для анализа материальных субстанций, как не к атомам Эпикура? К чему привели наши точные наблюдения за разложением веществ, задержание и взвешивание их самых тонких и невидимых элементов, как не к вечной и неизменной природе этих атомов? В ходе нашего исследования мы добавили к чудесным качествам материи, с которыми он был знаком, те, которые мы называем притяжением, отталкиванием, электричеством, магнетизмом и т. д. Как

эти открытия умножают и превозносят живые силы, присущие простым элементам всех существ, и вызывают наше восхищение проницательностью того интеллекта, который 2000 лет назад встал на истинный путь исследования; в то время как в наши дни тысячи учителей и миллионы ученых спотыкаются на путях заблуждений!

Если мы обратимся к нашей умственной философии, то к чему приведет наше исследование, как не к ведущим принципам эпикурейской этики? В удовольствии, пользе, целесообразности человеческих действий - (какое бы слово мы ни использовали, смысл один и тот же) - в последствиях человеческих поступков, то есть в их тенденции способствовать нашему добру или злу, мы всегда должны находить единственную проверку их внутренней пользы или вреда.

Может показаться странным, что, хотя истинность основных принципов эпикурейской философии давно признана всеми здравомыслящими людьми, поношение школы и ее основателя продолжается до сих пор: это могло бы показаться странным и непонятным, если бы мы не обнаружили в каждом предмете тот же трусливый страх перед открытостью и честностью предрассудков людей. Учителя, осознавая невежество тех, кого они учат, излагают свои доктрины на языке, понятном лишь немногим; или, если они опасаются более ясного изложения истины, укрываются от порицания, повторяя вульгарные порицания в адрес тех, кто преподавал ту же истину с большей ясностью до них. Масса людей, даже те, кого называют образованным миром, ничего не знают ни о принципах, которые они осуждают, ни о персонажах, которых они оскорбляют. Поэтому, присоединяясь к оскорблениям в адрес одних, легко внушить себе убеждение, что мы не можем отстаивать другие. Это желание быть честным с мудрыми, не навлекая на себя вражду невежественных, может устраивать тех, кто приобретает знания только для их демонстрации или для удовлетворения простого любопытства. Но те, чьей более благородной целью и высшим даром является продвижение человеческого разума в открытии истины, должны в равной степени порицать и хвалить. То, что такие уста и такие перья должны использовать двусмысленность или другие уловки, чтобы отвратить гнев невежества, унижительно для них самих и оскорбительно для их поклонников. Покойный любезный и просвещенный учитель Томас Браун из Эдинбурга, чье мастерское изложение старых и новых истин, разоблачение современных и древних заблуждений так продвинули исповедуемую им науку, все же обвиняется в этой слабости. После изложения ведущих принципов, всей своей прекрасной системы, он снисходит до того, чтобы успокоить предрассудки, которые все его аргументы стремились искоренить, огульно порицая школу, чьи доктрины он заимствовал и преподавал. Мы могли бы сказать: как недостойно такого ума! Но мы скорее скажем: как следует сожалеть о том, что такой ум не несет в себе убеждения, что все истины важны для всех людей; и что использовать обман в отношении невежд - значит нарушать нашу собственную цель, которая, несомненно, заключается не в том, чтобы открыть глаза тем, кто уже видит, а в том, чтобы просветить слепых!

ГЛАВА XVI.

На наставления мудреца собралось больше обычного народу. Здесь были и веселые, и любопытные, и ученые, и праздные, всех возрастов и обоих полов, представители беспокойного населения города; многие знатные граждане, собранные из разных частей Аттики, и немалая часть чужеземцев из иностранных государств и стран.

Они собрались на лужайке, окружавшей уже часто упоминавшийся храм. Воды Иллисса текли почти в своем привычном русле, а земля и воздух, освеженные бурей предыдущей ночи, сопротивлялись лучам незакатного солнца, поднимавшегося теперь высоко в небеса. Толпа

воспоминаний нахлынула на юный ум Теона, когда он вошел в прекрасную ограду и взглянул на ручей, составлявший одну из ее границ. Его мысли снова устремились к философии, а быстрый взгляд искал другую, более прекрасную форму, чем та, которую он нашел здесь, когда приближение Эпикура разделило толпу и заставило умолкнуть громкий ропот языков. Мудрец прошел дальше, и только когда он поднялся по мраморным ступеням и повернулся, чтобы обратиться к собравшимся, Теон понял, что за ним следует прекрасное существо, владевшее его воображением. Губы и щеки ее окрасились в цвета Гебы, но смешливые улыбки предыдущего вечера сменились спокойствием почтительного внимания. Она поймала взгляд Теона. Она покраснела и улыбнулась в знак узнавания. Затем, усевшись у основания колонны справа от отца, она вновь обрела спокойствие, и ее полные темные глаза устремились на мудреца взгляд, в котором смешались восхищение и сыновняя любовь.

"Сограждане и соратники! В этот день мы намерены рассмотреть вопрос, имеющий жизненно важное значение для рода человеческого: не менее важный, чем отношения, в которых мы находимся со всеми окружающими нас существами; положение, которое мы занимаем в этом прекрасном материальном мире; происхождение, предмет и цель нашего бытия; источник, из которого мы исходим, и цель, к которой мы стремимся; - этот вопрос охватывает многое. Он охватывает все самое интересное для нашего любопытства и влияющее на наше счастье. Его правильное или неправильное решение должно всегда регулировать, как сейчас регулирует, наши правила поведения, наши представления о правильном и неправильном; Оно должно начать нас на путь истинного или ложного исследования, и либо открыть наш разум к такому познанию чудес, творящихся в нас и вокруг нас, какого только могут достичь наши чувства и способности, либо навсегда закрыть его лентами суеверия, оставив нас жертвой страха, рабами наших неуправляемых фантазий, удивляющихся и трепещущих перед каждым явлением в природе и делающих наше собственное существование и судьбу источниками ужаса и тайны."

"Прежде чем мы приступим к этому важному исследованию, нам следует убедиться, что мы пришли с желанием; что мы не говорим: "Мы пойдем так далеко и не дальше; мы сделаем один шаг, но не два; мы будем исследовать, но только до тех пор, пока результат нашего исследования будет подтверждать наши предвзятые мнения". В поисках истины мы должны в равной степени отбросить самонадеянность и страх. Мы должны прийти с открытыми глазами и ушами, сердцами и пониманием; стремясь не к тому, чтобы признать себя правыми, а к тому, чтобы узнать, что есть правда; не утверждая ничего, что мы не можем доказать; не веря ничему, что мы не исследовали; и исследуя все вещи бесстрашно, беспристрастно, настойчиво."

"В наших предыдущих лекциях и, для тех, кто их не посещал, в наших трудах, мы пытались объяснить истинную цель философского исследования; мы направили вас к исследованию природы, ко всему, что вы видите в существовании и происшествиях вокруг вас; и мы показали, что в этих существованиях и происшествиях скрывается все, что *может* быть известно, и все, что должно быть известно. Мы увещевали вас пользоваться своими глазами и суждениями, а не воображением; воздерживаться от теории и опираться на факты; и понять, что в накоплении фактов, касающихся природы и свойств веществ, порядка происшествий и последствий действий, заключается вся наука философии, физической и нравственной. В ходе нашего исследования мы убедились, что в самой материи существуют все причины и следствия; что вечные частицы, составляющие все вещества, являются первым и последним звеном в цепи событий, или причин и следствий, к которым мы можем прийти; что качества, присущие этим частицам, вызывают или сопровождаются определенными эффектами; что изменения в положении этих частиц вызывают или

сопровождаются определенными другими качествами и эффектами; что солнце появляется, и что свет следует за его появлением; Что мы бросаем жемчужину в уксус, и она исчезает с наших глаз, чтобы принять форму или формы более тонких, но не менее реальных субстанций; что составные частицы человека распадаются, и вместо человека мы находим множество других субстанций или существований, представляющих новые облики и новые свойства или силы; Например, горящий уголь прикасается к нашей руке, за прикосновением следует ощущение боли, желание покончить с этим ощущением - следующий по порядку эффект, а мускульное движение отдернуть руку, следующее за желанием, - еще один. Что во всей этой череде существований и событий нет ничего, кроме того, что мы видим, или того, что мы могли бы увидеть, если бы у нас были лучшие глаза; что в природе нет никакой тайны, кроме той, что заложена в самом существовании всех вещей; и что то, что вещи остаются такими, какие они есть, не более удивительно, чем если бы они были другими. Что аналогичный ход событий, или цепь причин и следствий, имеет место в морали, как и в физике: то есть при изучении тех качеств материи, составляющей наше собственное тело, которые мы называем разумом, мы можем проследить лишь ряд событий, подобно тому, как мы это делаем во внешнем мире; что наши ощущения, мысли и эмоции - это просто следствия, следующие за причинами, ряд последовательных явлений, взаимно порождающих и производимых."

"Приняв такой взгляд на вещи, обратите внимание, как исчезают все заумные вопросы; как упрощается вся наука; все знания становятся простыми и привычными для ума! Если мы встали на этот единственно верный путь исследования, то каждый наш шаг - это шаг вперед. К какой бы науке мы ни обратились, то есть к какой бы части материи или к какому бы ее качеству ни направили наше внимание, мы, по всей вероятности, сделаем важные, потому что истинные, открытия. Будь то натурфилософия в целом или любой из тех ее подразделов, которые мы называем философией разума, этики, медицины, астрономии, геометрии и т. д., в тот момент, когда мы занимаемся наблюдением и приведением в порядок фактов, которые обнаруживаются в ходе наблюдения, мы приобретаем позитивное знание и можем смело браться за его развитие для других."

"Выяснение природы существования, порядка происшествий и последствий человеческих поступков составляет, таким образом, все знание, что же мешает каждому из нас расширить наши открытия до пределов, предписанных природой наших способностей и продолжительностью нашего существования? Какое благородное занятие мы можем изобрести? Какое удовольствие, столь чистое, столь мало подверженное разочарованию? Что нас сдерживает? Что не подталкивает нас вперед? Не начинается ли наше невежество с самой простоты знания? Боимся ли мы открыть глаза, чтобы не увидеть свет? Разве сама истина, которую мы ищем, не тревожит нас при ее достижении? Как получилось, что, оказавшись в этом мире, как на театре наблюдения, окруженные чудесами и наделенные способностями, с помощью которых можно эти чудеса изучать, мы так мало знаем о том, что есть, и так много воображаем о том, чего нет? Другие животные, которых человек считает выше себя, пользуются теми способностями, которыми они обладают, доверяют своим показаниям, следуют импульсам своей природы и наслаждаются счастьем, на которое они способны. Один только человек, самый одаренный из всех известных существ, сомневается в доказательствах своих превосходных чувств, извращает природу и применение своих умноженных способностей, контролирует свои самые невинные, а также самые благородные порывы и превращает в яд все источники своего счастья. В чем же причина этой роковой ошибки, этого жестокого самоистязания, этого извращения естественного хода вещей? Причину следует искать в чрезмерном развитии одной способности и пренебрежении

другой. В воображении, этом источнике наших самых прекрасных наслаждений, когда оно находится под контролем рассудка, мы находим источник наших худших страданий".

"С ранних лет я изучал природу и состояние человека. Я нашел его во многих странах земли, под влиянием всех разновидностей климата и обстоятельств; я нашел его диким властелином леса, одетым в грубые шкуры животных, менее грубых, чем он сам, укрытым в расщелинах гор и пещерах земли от зимних ударов и жары летнего солнца; Я нашел его рабом таких же низких господ, как он сам, пригибающимся к ноге, которая отталкивает его, и не проявляющим никаких признаков так называемой цивилизации, кроме ее лени и чувственности; я нашел его властелином миллионов, одетым в пурпур и ступающим по дворам из мрамора; жестокого истребителя своего рода, идущего через кровь и насилие к тронам расширенного владычества; тирана с железным сердцем, пирующего на агонии своих жертв и выжимающего свои сокровища из с трудом заработанных лепт промышленности; Я находил его безобидным, но невежественным землепашцем, питающимся простыми плодами своего труда, погружающимся в покой, чтобы снова подняться и трудиться, трудиться, чтобы жить, и жить, чтобы умереть; я находил в нем отточенного придворного, ученого, одаренного художника, гения творчества; дурака и плута; богача и нищего; отвергающего и отвергнутого.

"При всех этих формах и разновидностях внешнего и внутреннего человека, все равно, почти без исключения, я находил его несчастным. Обладая большей способностью к наслаждениям, чем любое другое существо, я видел, что он превосходит остальные существа только в страданиях и преступлениях. Почему так происходит и откуда? Какая ошибка мастера, а таковые должны быть, приводит к столь фатальным результатам, столь противоречащим очевидной природе и обещаниям вещей? Я долго искал эту ошибку, эту главную пружину человеческой глупости и человеческого преступления. Я проследил весь длинный ряд следствий и причин человеческой практики и человеческой теории; я прошел по лабиринту к его темному началу; я нашел первое звено в цепи зла; я нашел его во всех странах, среди всех племен, языков и народов; я нашел его, - друзья, я нашел его в религии!"

Из одной части собрания донесся негромкий ропот. Затем наступила глубокая и бездыханная тишина. Мудрец медленно обвел всех взглядом и с лицом, чистым и безмятежным, как небо, которое сияло над ним, продолжил: - Мы назвали главную ошибку.

"Мы назвали главную ошибку человеческого разума, бич человеческого счастья, извратитель человеческой добродетели! Это религия - мрачная монета трепетного невежества! Это религия - отравитель человеческого счастья! Религия - этот слепой поводырь человеческого разума! Именно религия - этот отниматель человеческой добродетели - лежит в основе всего зла и всех несчастий, которые пронизывают мир!

"Мнение, которое вы слышите сегодня, не было сформировано наспех, и тем более не было высказано поспешно. Долгие размышления привели к тому, что религия была отброшена как заблуждение, жизнь наблюдений - к осуждению ее как зла. Считаю ее лишенной истины, я лишь один из многих. Лишь немногие глубоко и неуклонно вглядывались в природу вещей и не ставили под сомнение веру в невидимые существования и неизвестные причины. Но, улыбаясь легковерию своих собратьев, философы считали, что разум хорош только для них самих. Они утверждали, что религия, какой бы детской химерой она ни была, полезна в своих тенденциях: что, если она ни на что не опирается, она поддерживает все вещи; что она - пребывание добродетели и источник счастья. Как бы ни противоречило это утверждение всем правилам философии, физической и моральной; как бы ни противоречило оно разуму и здравому смыслу, что вещь, не соответствующая действительности, может быть полезной;

что вера в опровергнутые или недоказанные факты может служить опорой для справедливых правил практики; это утверждение было подкреплено столь универсальным свидетельством человечества и отдельными именами, имеющими такой авторитет в практической мудрости и добродетели, что я не решался назвать его ошибочным. И поскольку человеческое счастье представлялось мне великим желанием, а его содействие - единственным объектом, соответствующим взглядам учителя людей, я воздерживался от всякого выражения мнения, пока не обосновал полностью, по моему собственному убеждению, как его истинность, так и его тенденцию. *Истинность* моего мнения обосновывается, как мы видели, изучением природы вещей, то есть свойств материи, которых одних достаточно, чтобы произвести все те случайности и изменения, которые мы наблюдаем. Ее *тенденция* обнаруживается при изучении морального состояния человека.

"Считается, что вера в сверхъестественное существование и ожидание будущей жизни являются источниками счастья и стимулами к добродетели. Как и каким образом? Доказано ли это опытом? Оглянитесь на землю: повсюду хвалебные песни, молитвы, дым благовоний, жертвенные удары - из леса и с лужайки, из коттеджа, дворца и храма поднимаются к богам человеческого идолопоклонства. Религия распространилась по всей земле. Если она - родительница добродетели и счастья, то и они должны покрывать землю. Так ли это? Читайте анналы человеческих традиций! Пойдите и понаблюдайте за действиями людей! Кто скажет о добродетели, кто о счастье, что имеет глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы чувствовать? Нет! Опыт говорит против этого утверждения. Мир полон религии и полон несчастий и преступлений.

"Можно ли подкрепить это утверждение аргументами, какими бы то ни было рассуждениями? Представьте себе Божество в любой форме существования; как наши мечты о нем на воображаемых небесах могут повлиять на наше счастье или поведение на осязаемой земле? На зло они, конечно, могут повлиять, но как на добро? Идея невидимого Существа, вечно действующего вокруг и около нас, может поражать человеческий интеллект пустыми ужасами, но никогда не сможет направить человеческую практику к тому, что рационально и соответствует нашей природе. Допустим, что каким-либо образом мы могли бы установить существование одного бога или миллиона богов: мы их не видим, не слышим, не чувствуем. Если бы они не были подвластны нашему наблюдению, не были созданы по нашему подобию, не имели бы схожих желаний, схожих способностей, схожей организации, как бы их способ существования мог служить нам ориентиром? С таким же успехом бабочка должна брать пример со льва, или лев с орла, как человек с бога. Не говоря уже о несоответствии атрибутов, которыми наделены все боги, достаточно того, что ни один из них не похож на наш. Мы - люди; они - боги. Они населяют другие миры, мы - землю. Пусть они наслаждаются своим счастьем, а мы, друзья мои, ищем свое".

"Но религия не просто бесполезна, она злонамеренна. Она озорна своими пустыми страхами; она озорна своей ложной моралью; она озорна своим лицемерием; своим фанатизмом; своим догматизмом; своими угрозами; своими надеждами; своими обещаниями. Если рассматривать ее в самой мягкой и приятной форме, то она все равно вредна, поскольку внушает ложные мотивы действий, держит человеческий разум в рабстве и отвлекает внимание от полезных вещей на бесполезные. Суть религии - страх, поскольку ее источник - невежество. На определенном этапе человеческого познания человеческий разум должен по необходимости, в своем незнании свойств материи и темном понимании цепи явлений, вытекающих из этих свойств, должен по необходимости ложно рассуждать о каждом явлении и существовании в природе; он должен по необходимости, в отсутствие фактов, дать волю фантазии, видеть чудо в каждом необычном событии и представлять

невидимых агентов как производителей всего, что он видит. По мере того как расширяется диапазон наших наблюдений и мы учимся связывать и упорядочивать явления природы, мы сокращаем список чудес и число наших сверхъестественных агентов. Затмение вызывает тревогу у вульгарных людей, как обозначение гнева оскорбленных божеств; для человека науки это простое явление, которое так же легко проследить до его причины, как и любое другое, наиболее знакомое нашему наблюдению. Знание одного поколения - это невежество следующего. Наши суеверия уменьшаются по мере того, как умножаются наши достижения; и пыл нашей религии уменьшается по мере того, как мы приближаемся к выводу, который полностью ее разрушает. Вывод, основанный, как мы видели, на накопленных фактах, что только материя является одновременно и действующей вещью, и вещью, на которую действуют, - вечной по продолжительности, бесконечно разнообразной и изменчивой по виду; никогда не уменьшающейся в количестве и всегда меняющейся по форме. Ни один человек не может прийти к такому выводу без определенных знаний в области натурфилософии или физики. А на *определенной* стадии этих знаний, более или менее продвинутой в зависимости от остроты интеллекта, ни один человек, не страдающий умственной тупостью, не сможет уклониться от этого вывода. Эта истина бесконечно важна. Если рассматривать враждебность, направленную против того, что называют атеизмом, как естественный результат недостатка информации, то разум должен быть болен, чтобы возмущаться этой враждебностью. И, возможно, простое изложение истины лучше всего подтолкнет к изучению этого вопроса и обращению человечества.

"Представьте себе это обращение, друзья мои! Представьте себе человека-творца в полном осуществлении всех его способностей; не уклоняющегося от знания, но стремящегося к нему; не склоняющего колена в преклонении перед провидцами, вооруженными страхом за его уничтожение, но стоящего прямо в спокойном созерцании прекрасного лика природы; отбрасывающего предрассудки и признающего истину без страха последствий; не признающего никакого судьи, кроме разума, никакого цензора, кроме того, который находится в его собственной груди! Таким образом, он превращается в бога своего нынешнего идолопоклонства или, скорее, в гораздо более благородное существо, обладающее всеми атрибутами, совместимыми с добродетелью и разумом, и ни одним из них не противоречащим ни тому, ни другому. Как велик контраст с его реальным состоянием! Его лучшие способности дремлют; его суждения не пробудились в нем; его чувства не работают; вся его энергия направлена не по назначению; он трепещет перед чеканкой своей собственной праздной фантазии; он видит над всем творением протянутую руку тирании; и вместо того, чтобы следовать добродетели, он поклоняется силе! Чудовищное порождение невежества! Чудовищная деградация самого благородного из известных существований! Человек, кичащийся своим превосходным разумом, своей моральной разборчивостью, воображает существо одновременно несправедливое, жестокое, и непоследовательное; затем, целуя пыль, называет себя его рабом! "Этот мир *есть*, - говорит теист, - поэтому он был создан" - кем? - "Существом, более могущественным, чем я". Если допустить это младенческое рассуждение, что следует в качестве вывода? "Мы должны бояться его, - говорит теист. - А почему? Разве его сила направлена против нашего счастья? Разве ваш бог развлекается, пробуждая ужас в более беспомощных существах? Тогда мы можем бояться его; и, пусть наше поведение будет таким, каким оно будет, мы *должны* бояться его. "Он добр и могущественен, - говорит теист, - поэтому его можно любить". Как же убедиться в его доброте? Я вижу действительно прекрасный и любопытный мир; но я вижу, что он полон моральных пороков и имеет множество физических недостатков. Всемогу ли он? Может существовать совершенное добро или совершенное зло. Он всемогущ *и* всеблаг? Совершенное добро *должно* существовать. Из разумных существ, заключенных в бесконечности материи, я знаю только те, которые вижу. Я не ставлю пределов числу тех,

кого я не вижу; не ставлю пределов их могуществу. Один или многие, возможно, давали указания элементарным атомам и лепили эту землю, как гончар лепит свою глину. Существа, обладающие подобной силой, могут существовать и пользоваться ею. *Но всемогущими* они все равно не являются, или, будучи таковыми, они злы: *зло существует*. Я не знаю, что *может* быть - но мое нравственное чувство подсказывает мне, что этого не может быть - создателем мира, в котором я живу, по своей природе всеблагого и всемогущего. Я вижу еще одну невозможность: создатель этого мира по своей природе всеблаг и *всезнающ*. Если допустить возможность существования атрибутов, то их совместное существование в архитекторе нашей земли было невозможным предположением.

Давайте признаем его благость, самый приятный и ценный атрибут. Тогда ваш бог - объект нашей любви и нашей жалости. Нашей любви, потому что, будучи благосклонным по своей природе, он, должно быть, намеревался создать счастье, формируя наше; нашей жалости, потому что мы видим, что он не выполнил своего намерения. Я не могу представить себе состояние более плачевное, чем состояние божества, созерцающего этот мир своего творения. Является ли он автором какого-то, скажем, большого счастья? А какого невыразимого несчастья он в равной степени является автором? Я не могу представить себе существо более отчаянно, более безнадежно несчастное, чем то, которое мы сейчас изобразили. Худшие из человеческих бед уменьшаются до сравнительной ничтожности перед страданиями их автора. Как каждый вздох, вырвавшийся из груди человека, должен разорвать сердце его Бога! Как каждое насилие, совершенное на земле, должно нарушать покой небес! Не в силах изменить то, что он создал, он должен в равной степени проклинать свое могущество и свое бессилие! И, оплакивая наше существование, как он должен гореть желанием уничтожить свое собственное!

"Теперь мы предположим, что его власть безгранична, а его знания простираются как в будущее, так и в прошлое. Какая чудовищная концепция! Какой демон, вырвавшийся из лихорадочного мозга безумца, когда-либо превосходил это божество по злобности! Способный творить совершенство, он посеял во всей природе семя зла. Лев преследует ягненка; стервятник в ярости вырывает голубя из гнезда. Человек, всеобщий враг, торжествует даже в страданиях своих братьев; в их боли он находит свою радость; в их потерях - свою выгоду; в неистовстве своего насилия он творит свое собственное разрушение; в глупости своего невежества он проклинает свой род и благословляет его жестокого автора! Ваше божество - автор зла, а вы называете его добрым; изобретатель несчастья, а вы называете его счастливым! Какой добродетельный ум воздаст почести такому существу? Кто скажет, что почтение, если оно оказывается, не унижает поклоняющегося? Или кто скажет, что поклонение, оказанное идолу, умиротворяет его? Обеспечит ли унижение раба милосердие тирана? А если и так, друзья мои, то кто из нас окажется ничтожнее? Найдутся ли люди смелыми, чтобы противостоять земному гнету, и склонятся ли они перед несправедливостью, потому что она говорит с небес? Вдохновляет ли имя Гармония наши песни? Разве лавровыми венцами увенчаны храмы Аристоклиту? Пусть наше мужество превзойдет их, друзья мои; и, если достойно честолюбия, наша слава! Свергнем не афинского тирана, а тирана земли, не угнетателя афинян, а угнетателя человечества! Выступайте! Встаньте прямо! Скажите этому богу: "Если ты создал нас по злему умыслу, мы не станем поклоняться тебе в страхе. Мы будем судить о тебе по твоим делам и оценивать твои дела нашим разумом. Если они пронизаны злом, то ты, как их автор, виновен в этом. Мы не заботимся о том, чтобы примириться с твоей несправедливостью, равно как и о том, чтобы стремиться к твоей силе. Мы судим о будущем по прошлому. И как вы распорядились нами в этом мире, так же, если вам угодно продолжить наше существование, вы должны распорядиться нами в другом. Было бы бесполезно бороться со

Всемогуществом или противостоять постановлениям Всезнания. Мы не станем мучить себя, выдумывая ваши намерения, и не станем унижаться, оправдываясь. Если ты накажешь в нас зло, которое ты сотворил, ты накажешь его так же несправедливо, как и злонамеренно. Если вы наградите нас за добро, вы наградите его абсурдно, так как оно в равной степени было делом ваших рук, а не наших".

"Давайте теперь аргументированно признаем единство всех перечисленных атрибутов. Допустим существование существа, совершенного в благодати, мудрости и силе, которое создало все вещи по своей воле и постановило все события в своей мудрости. Такое существо должно вызывать у нас восхищение и одобрение: большего он не может. Поскольку он добр и мудр, он выше всякой похвалы; поскольку он велик и счастлив, он независим от всякой похвалы. Поскольку он - автор нашего счастья, он обеспечивает нашу любовь; но поскольку он - наш создатель, он не может требовать от нас никаких обязанностей. Если предположить, что есть бог, то все обязанности лежат на нем. Если он нас создал, то обязан сделать нас счастливыми; а если он не справляется с этой обязанностью, то должен вызывать справедливое отвращение у всего своего разумного творения. Полученная доброта обязательно должна вызывать привязанность. Эта доброта у божественного творца, как и у земного родителя, является торжественным долгом, священным обязательством, неисполнение которого было бы самым жестоким преступлением. Когда он исполняется, любовь со стороны существа, как и со стороны ребенка, является необходимым следствием и достаточной наградой.

"Позволяя теисту иметь своего бога, мы не находимся с ним ни в каких отношениях, которые могли бы внушать страх или влечь к исполнению долга. Он не может дать нам счастья, которое он не обязан был даровать: он не может лелеять нас с нежностью, которую он не обязан был дать. Он должен удовлетворять все наши желания - или, если они ошибочны, исправлять их. Мы должны требовать от него всех благ, которые в его силах предоставить, а в наших - насладиться ими. Итак, пусть теолог изгонит страх и долг из своего вероучения. Только любовь - только любовь может быть востребована богами или уступлена людьми.

"Достаточно ли мы сказали! Конечно, абсурдность всех доктрин религии и беззаконие многих из них достаточно очевидны. Бояться существа из-за его силы - унижительно; бояться его, если он добр, - смешно. Докажите нам его существование; докажите нам его совершенства; докажите нам его родительскую заботу; в наших сердцах зародится любовь, и мы оплатим ему за его щедрость. Если он не заботится о том, чтобы показать нам свое существование, он не желает платы за нашу любовь, а находит в созерцании своих собственных дел свою награду".

"Но, - говорит теист, - его существование очевидно, и не признавать его - преступление. Для меня это не так, друзья мои. Я не вижу достаточных доказательств его существования; а рассуждать о его возможности я считаю пустой спекуляцией. Сомневаться в том, что очевидно, не в нашей власти. Верить в то, что не очевидно, для нас одинаково невозможно. Теист! Ты делаешь из своего бога существо более слабое, более глупое, чем ты сам. Он карает как преступление сомнение в своем существовании! Так пусть же он объявит о своем существовании, и мы больше не будем сомневаться. Если бродячие племена Скифии усомнятся в существовании Эпикура, должен ли Эпикур рассердиться? Какого тщеславия, какого абсурда, какой глупости, о, теист! не предполагаешь ты в своем боге! Пусть он существует, этот бог, во всем совершенстве образов поэта; я поднимаю к нему чело, уверенное и безмятежное. Я вижу тебя, о бог, в твоём могуществе и восхищаюсь тобой: я вижу тебя в твоей доброте и одобряю тебя. Только такое почтение достойно того, чтобы ты принял, а я - чтобы оказать". И что он отвечает? "Ты прав, создание моей моды! Ты не можешь

ни прибавить, ни отнять от суммы моего счастья. Я создал тебя, чтобы ты наслаждалась своим, а не удивлялась моему. Я поместил тебя среди предметов желания, я дал тебе средства для наслаждения. Так наслаждайся же! Будь счастлив! Ведь именно для этого я создал тебя".

"Слушайте, дети мои, слушайте своего учителя! Пусть говорит бог или философ, предписание одно: *наслаждайтесь и будьте счастливы!* Разве жизнь коротка? Это зло: Но сделайте жизнь счастливой, ее краткость - *единственное зло*. Я взываю к вам, как, если бы он существовал, Бог должен взывать к вам с небес: *Наслаждайтесь и будьте счастливы!* Вы сомневаетесь в выборе пути? Пусть Эпикур будет вашим проводником. Источник любого наслаждения находится внутри вас самих. Добро и зло лежат перед вами. Добро - это все, что может принести вам удовольствие: зло - то, что должно принести вам боль. Здесь нет ни парадокса, ни темного изречения, ни морали, скрытой в баснях.

"Мы рассмотрели несостоятельные основы религии. Осталось рассмотреть столь же непрочную ткань морали. Добродетель человека ложна, как и его вера. То, что придумано глупостью, поддерживается рабством. Давайте же встанем во весь рост, исследуем, осудим и будем свободны!"

Учитель сделал паузу. Толпа стояла, как бы прислушиваясь. "В удобное время, дети мои, мы рассмотрим природу человека и науку жизни более подробно".

КОНЕЦ.